

Врата смерти

Автор:

Елена Крюкова

Врата смерти

Елена Крюкова

Люди приходят из ниоткуда и уходят в никуда. Что такое жизнь и смерть? Что такое время? Героиня книги страстно любит жизнь. И помнит людей – всех, кого ей довелось проводить в Мир Иной. Именно ее сердцем, горячим и неистовым, Бог крепко сшивает на наших глазах суровую ткань бытия и небытия. В ярких рельефах, подобных живописи ушедших веков, перед нами предстают картины жизни – с мощью красок и звуков, радугой событий, контрастами горя и счастья, песней любви над ненавистью всех войн... Книга содержит нецензурную брань.

Врата смерти

Елена Крюкова

Дизайнер обложки Владимир Фуфачев

© Елена Крюкова, 2019

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-0050-9823-8

ВРАТА СМЕРТИ

Памяти великого Джакомо Манцу

Врата Смерти медленно открываются здесь и сейчас

Рельеф первый. Каин и Авель

Меня не было при нем, когда его убивали. И когда его топили в Волге – тоже не было. Меня не было при его смерти, и не должно было быть; не при всякой смерти пребывает человек, и часто ему не дано видеть даже смерть ближнего своего; а тут – кто он был мне такой?

Кто всякий человек друг другу на земле? Нас слишком много, чтобы мы оплакивали друг друга, каждый пекся о каждом. Его убили, и я стала так остро чувствовать смерть, что заглянула в ее бездонный колодец слишком глубоко, слишком пристально. И вся темная толща просветилась насквозь. Я увидела камни на дне. Я увидела светящихся рыб. Я увидела светящиеся глаза и волосы людей, вчера живших, сегодня – плывущих во тьме без конца и без краю.

Его убили, и мир перевернулся. Мир упал, как падает раненный насмерть. На мир верхом сел убийца и душит его. Я крещусь и молюсь. Где сила молитвы? Кто такие живые люди друг другу, если Бог когда-то забрал за первородный

грех у человека его бессмертие?

Я сижу во тьме, и голова моя, с моими волосами, – в сажевых прядях уже просверкивает скупыми белилами седина, – с моими плотно сжатыми в молчанье губами, с моими горящими бессонными глазами – во тьме; из тьмы куском золота выступает горящая лампа, бросающая на меня печальный золотой свет, золотеют зимние узоры на морозном стекле, золотятся мазки картин отца, вспыхивают старым золотом старые пожелтевшие фотографии за тусклыми пыльными стеклами шкафов. Все в мире есть тьма и золото; золото и тьма. Золото светит собственным светом; и тьма, как ни тщится, до сих пор все не может его пожрать. За окном зима, за окном снег, ночь и Луна; Луна золотая, как срез дыни, как золотое яблоко или апельсин. Я так люблю золото мира. Я бедна и горжусь этим. Я бедна и ненавижу свою бедность. Я живу во тьме. Я богаче всех – ведь у меня есть золото. Когда люди умирали и уходили в небеса, те, кто провожал их в последний путь, украшали умерших золотыми подвесками, золотыми диадемами и гривнами. Золотой свет выхватывает из крошечной тьмы фигуры, они движутся передо мною. Они – живые. Я тоже еще – живая. Я дала себе слово перед лицом света и тьмы: поцеловать всех моих мертвых, пока мои руки движутся и горящие глаза видят мир, пока я жива и способна перекрестить лоб, приступая к деянию.

Снег, ночь и Луна. Русская равнинная Луна. На Востоке другая Луна. Я жила на Востоке, я впитала его кобылье молоко, я пила вздох его люй-ча, вдыхала его траву «верблюжий хвост». На Востоке не верят деянию, там верят недеянию. На Востоке верят в переселенье душ. Там не верят в то, что человек на земле живет лишь однажды и лишь однажды умирает, а душа, предаваясь Христу Богу, спасается навек. Там думают: душа странствует по миру, по временам. Каждый утешается, как умеет. Я утешу вас, родные. Я изваяю вам Книгу Мертвых. Были египтяне; были тибетцы; были иудеи; были авестийцы; были скандинавы-берсерки; были безумные римляне и свирепые готы; и каждый писал свою Книгу своих Мертвецов. Но то, что я рождаю сейчас, – это не книга, милые; это Жизнь и Смерть, две ладони, слитые, прислоненные друг к другу, два лица напротив. Я – игла, во мне – нить. Я проткну дивную ткань бытия и умру.

Меня обступает тьма. Золото светится во тьме, как светится во тьме золотая старая серьга в моей просвечивающей розовой мочке – в зеркале я вижу драгоценный блеск серьги. Все на свете драгоценно, пока живешь. Пошляки, лицемеры, убийцы! Драгоценны и вы, ибо вы оттеняете высоту, правду и любовь.

Пусть смеются над любовью. Пусть закрывают рот ладонью, застывая над гробом. Горит и золотится во тьме мира праотеческий чин, пророческий. Надо написать фигуры деисусного ряда, пока кисть не выпала из руки.

Меня не было при нем, когда его убивали. А кто был при Авеле, когда его убивал Каин?

Его убили, и его золотое лицо надвинулось на меня из тьмы, умоляя, прося, шевеля бледными губами: скажи, свидетельствуй, передай.

* * *

Он бежал во тьме. Он бежал во тьме быстро, задыхаясь, не разбирая дороги.

Как же он просчитался, взяв с собою все деньги.

Что на нем было надето? Так, чепуха, он оделся даже слишком бедно, нищенски, почти как бездомный – грязный пиджак, рубаха без пуговиц у ворота, старые штаны без ремня; его могли выдать только башмаки – отличные, новехонькие башмаки, скрипучие от новизны, терпко пахнущие кожей. Деньги он положил во внутренний карман пиджака. Большие деньги, да, большие. Такие большие, что рядом с ними он почувствовал себя маленьким и жалким.

Сразу после того, когда он вышел от Александра, он понял – за ним погоня. Погоня тихая; нежная; вкрадчивая; за ним шли по пятам – так волки ступают след в след за вожаком в снежном лесу. Он это понял – и весь облился ледяным потом.

Он сказал сам себе тихо, шепнул: все, Андрей, уходи, тебе надо уходить. За ним идут, и он не знает, сколько их. Их целая вереница. Это кортеж. Праздничный кортеж, и они сопровождают его. Он идет с большими деньгами в кармане, он Царь, а за ним влекутся на конях и слонах, на ослах и верблюдах, украшенных попонами и драгоценной сбруей, отделанной бирюзой и сапфирами, а также яркими смарагдами, ослепительными, как глаза северянок, и розовыми перлами наложницы и евнухи, надсмотрщики и пастухи, дровосеки и косцы, участковые

и следователи. А на самом крупном слоне, с хоботом, израненным в боях, едет смеющийся убийца, и в руке его – огромный кольт, и он поигрывает им, предвкушая наслаждение. Убивать – это же наслаждаться. Разве непонятно. Выпивка, бабы и кровь – все красное, сладкое, страшное.

Он оторвется от кавалькады. Внимание. Собраться. Он весь превратился в крепкий сжатый кулак, метнул себя вбок, в открывшийся мечущемуся взгляду проулок. Он услышал за собой топанье сапог. Стук каблуков об асфальт громом отдался в его ушах. Он ринулся за дерево, прижался к широкому стволу старого осокоря. Тишина. Бегущий тоже замер. Остановился. На миг Андрею показалось – он слышит его дыханье.

Тихо, на цыпочках, он отошел от дерева. Здесь улица обрывалась, срывалась вниз, к Волге. Сюда. И бежать, бежать быстро, как можно скорее. Падать вниз с обрыва. Там, внизу, пристань. Ночная пристань; рыбаки ловят ночную рыбку «пауками» и допотопными удочками, срезанными из молодых стволов ольхи. Там, на пристани, старый дед Ермолай, бакенщик, у него каптерка всегда открыта, он его приютит, если что – там есть телефон; они вызовут...

Кого, зачем вызовут?! Беги, Андрей, дурак, беги! Он побежал, и его топот так же гулко разнесся по узкому, как труба, темному переулку. Кроны тополей метались над ним, их рвал верховой ветер. Ветреный день; на Волге «беляки», штормит. Если у деда Ермолая моторка в порядке – он сиганет в моторку, и поминай как звали. Еще и порыбачит, нервы успокоит, у деда всегда в лодке валяются снасти, а червей он накопает в любых полях за Волгой, в поемных лугах.

Он бежал вниз, а за ним уже всю грохотал топот погони. За ним бежали, ЧТОБЫ ЕГО УБИТЬ. Он это понимал.

Мимо него мелькали старые домишки, пристанища бездомных, приютища несчастных, прилюдных посетителей пельменных и пивных, старух, собирающих крошки для птиц в столовых, грязных пацанов с металлическими наклейками на куртках и кожаных браслетах. Здесь насиловали, пыряли ножами. В пустые глазницы глядело небо. Город держал в себе разрушенные дома, как человек держит во рту гнилые зубы; недосуг вырвать, пускай болят. Вперед! Скорей! Он не должен дать себя поймать. Он не птичка. Он человек. И он спасется.

Он, хотя ему было уже тяжело, ускорил бег, и хрипы задыхания стали вырываться из его груди; он дышал натруженно, как худой насос. Позор, подумал он о себе с отвращением, а я ведь еще молодой, мне же еще только тридцать три стукнуло. «И многие лжепророки придут и будут пророчествовать под именем Моим». По его лицу хлестали ветки. Топот сзади приближался. Вот он, первобытный ужас. Не каждому дано такое пережить, – подумал он о себе на бегу хвастливо, с гордыней, с черным хохотком.

Вон она, пристань! Вон берег! Скоро! Волга мерцала сквозь нагроможденья сараев и стволы осокорей мертвенным лунным светом. Он бежал, глотал судорожно воздух. Топот за его спиной уже вонзался ему в уши, как вонзают в воспаленную барабанную перепонку врачебное копье, чтобы проткнуть набрякшую плоть и дать вытечь гною. Господи! Помоги! Он, никогда не ходивший в церковь, взмолился истово и горячо. Под его ногой уже прогибались деревянные мостки, ведущие к пристаньке, как тот, что бежал за ним грозно и угрюмо, схватил его за горло согнутой в локте рукой и повалил наземь.

Андрей тяжело дышал. Он был весь мокрый. Он вспотел – столько пробежать! Горячий пот бега перекрыл ледяной пот, выступивший из тайных пор, из потрясенного нутра. Тот, кто бежал за ним, уронил Андрея лицом вниз на землю, и теперь он лежал ничком, а тяжелое тело сидело на нем, придавливая его к пахнущей полынью и сухой сурепкой, летней выжженной земле. Андрей видел пожухлую траву рядом с лицом своим и думал: вот, это последняя моя трава, что я вижу на земле. Последняя?! Ну уж нет! Поборемся!

Он дьявольски напряг мышцы, сиюсь выпростаться из-под навалившегося тела. Убийца знал, за чем гнался. Андрей почувствовал – ему наступили коленом на спину, а безжалостная рука нажала на его шею две точки, и адская боль пронизала его бешеной голубой молнией. Он вскрикнул, на миг все померкло. Чужая грубая рука полезла ему в карман пиджака, туда, где лежали деньги. Черт! Живые деньги! Почему он решился, почему взял с собой живые деньги! Можно ведь было сделать так, чтоб они невидимо перетекли ему в руки; открыть счет; задарить налоговую инспекцию; люди в налоговой полиции тоже берут взятки, как и все на свете люди, он отмазался бы, подкупил... Если не подкупил бы – заплатил бы налоги. Бешеные налоги – с бешеных денег. Пожалел. Теперь плати, парень, жизнью. Она, судя по всему, у тебя – дешевка. Одной больше, одной меньше. У тебя, как у кошки, девять жизней.

Он попытался повернуться под грузной тушей. Нога убийцы обхватила его согнутую в колене ногу. Он слышал сопенье, хрипы – преследователь тоже устал от погони, дышал с натугой. И голос, тяжелый, как чугун, пробил над ним:

– Ты, пащенок. Что ворочаешься, как медведь. Оглушил бы тебя сразу, у меня ведь пушка с собой, да мне от тебя надо узнать кое-что. Если расколешься – может, еще и в живых оставлю.

«Врет», – с содроганьем подумал Андрей. Не оставит он его в живых. Надо бороться. Надо испробовать все. Он изогнулся и молча укусил врага за ногу. Зубы впились в коленную чашечку, прокусили кожу, врезались в кость. Брызнула кровь, наполнила кусающий рот. Убийца заорал, выругался. Ударил Андрея по голове, и на миг Андрей опять потерял разум.

Из тьмы выплыло лицо. Он не сразу понял, что это за лицо. Когда серая занавесь отдернулась еще вбок, в сторону, он осознал: он лежит на спине, руки у него связаны за спиной – он чувствовал, как больно врезается в запястья грубое вервие, – а убийца сидит на нем и считает деньги.

Это было так странно, гадко. Он сидел на нем, на его чреслах – так обычно сидели на нем его женщины, любовницы, а он изгибался под ними, всаживая себя в них, как золотой нож, – и тщательно, мусоля грязные пальцы, пересчитывал деньги, всю толстенную пачку зеленых американских денег, что он взял у Александра. Как глупо. Александр его подставил, чтобы вернуть деньги. Нет! Александр не мог! Убийца подслушал их с Александром сговор. Выследил его. Где он мог и что подслушать?! Они с Сашкой говорили наедине, в глухой нищей каморе. И стены имеют уши. В далеком чужом Лувре, в Альказаре, в Вестминстере, у древних королей – это да. Но в наших трущобах, в тараканьем нужнике?! Андрей ворохнулся под сидящим на нем. Выставил колено. Попытался коленом ударить убийцу по заду. Ничего не вышло. Он заметил, что убийца перевязал себе носовым платком прокушенную им ногу.

– Все в порядке, – чугун голоса опять ударил Андрея по голове молотком, – все сходится. Не обманул. Не дергайся, козявка. – Он убрал деньги за пазуху, и Андрею отчего-то с ужасом подумалось: кто следующий?! Кто нападет теперь уже на имеющего за пазухой деньги, кто убьет теперь его, владеющего, имущего?! – Всунул бы тебе в рот кляп, да голосок твой козлиный услышать уж очень хочется. Спой, светик, не стыдись. – Он ударил Андрея по зубам рукояткой револьвера, выбил ему зубы, он выплюнул вбок крошево зубов, и из его рта

потекла по щеке, по подбородку темная густая кровь. – Ты, червяк. Отвечай быстро, кто передал тебе деньги?!

Андрей, ослепший от боли в челюсти, не мог говорить, только плевался кровью. Ослепленье мыслей было сильнее боли. КТО?! Значит, они не знают, что это Александр! Значит, они узнали о деньгах от кого-то другого! От кого, Господи?! Он же никому не говорил! Никому?!

Руки были заломлены, связаны, локти холодила ночная земля. Снова холодный пот окатил его. Он все вспомнил.

Этот нищий, лагерник, бывший зэк. Он выпивал с ним в дешевом баре «Блиновский пассаж». Да, Иван Ильич. Попросту Ильич, все так и звали его; он был житель Рождественской портовой улицы, ее пельменных и столовок, ее пристаней и забегаловок. Жаль, что сейчас на Рождественской не было ночлежек; Ильич был бы первым гостем в ночлежке, ее царем, ее владыкой и тамадой. Когда он выпивал – а на выпивку ему наскребали все, кому не жалко было грош вынуть из кармана – у него развязывался язык, и он плел такие изумительные байки, что вся Рождественка сбегалась его слушать: все пьянчужки и пацаны-рокеры, все завсегдатаи пивных баров и старые волжские рыбаки; слух разносился мгновенно: «Ильич проповедует, айда слушать!..» Цирк бесплатный, бесплатное кино. Спектакль отменный, и декорация – бутылка. Сперва полная, затем полупустая; красноречье Ильича иссякало, и требовалось еще влить в костлявое ребрастое тело горького прозрачного горячего. Водку Ильичу покупали, скидываясь в шапку, самую дешевую – и ведь она, сволочь, дорожала день ото дня. Баловал народ Ильича, ох, баловал! А Андрей, забредя в «Блиновский пассаж» и обнаружив там исходящего сухой тоской и бесслезным горем, понурого Ильича, побаловал его крепче всех – подошел к стойке, кинул бармену деньги, бросил: «Две бутылки „Московской“, пожалста. И закуски всякой, какая есть. Крабовые палочки... чебуреки... еще какое дерьмецо?.. а, да, верно, кура холодная, пешком шла с Дальнего Востока, пойдет!..»

Бармен, улыбаясь, выставил им две бутылки водки и всяческой кафешной, не первой свежести, снеди – не фонтан, да заедать «беленькую» можно. Для Ильича это был сущий пир. В Новый год такого не бывало, в Рождество. Какое Рождество у бездомного? Голуби на родном чердаке слетятся, поздравят, на плечи сядут... «Я умру с голубями на руках», – говорил он не раз собутыльникам. Те уважительно кивали: да, Ильич понимает толк в голубях.

Тридцать лет по чердакам, по кладовкам, по каморам истопников, по подвалам. Старик вытаращился было на Андрея, да махнул рукой: молодой, щедрый, заработал, старика уважил, самому выпить охота, чего тут рассусоливать, выпивать скорей надо да закусывать!.. – и Андрей видел, как у него дрожат от радости и жадности руки. Водка, вечная белая русская кровь. Крови-то в жилах не осталось. Только вьюга – зимой, да ручьи – весной, да грязная Волга – летом, да чистая водка – всю жизнь. «Там, в лагерях, водки не было. Я в детстве сахару мало ел. Я в молодости водки мало в тюряге пил. Хоть сейчас восполню потерю».

«Ну давай, Ильич, приложимся!.. За тебя, – сказал Андрей, ловко разливая водку по залапанным, хорошо не отмытым стаканам, – за твою безумную, великую жизнь! Повидал ты, брат, на веку!.. мы столько уже не повидаем... Твое здоровье! Пусть Бог даст тебе силы пожить!» Они подняли стаканы, сдвинули их, вместо звона вышел громкий наглый стук. От других столиков, за которыми надо было стоять, а не сидеть, к их столику уже сползались привлеченные грядущей тронной речью посетители. Ильич был в ударе. Он ввергся во вдохновенье уже с двух полстаканов. Андрей растягивал удовольствие, наливал понемногу, не гнал лошадей. Ильич благодарными влажными глазами из-под сморщенных коричневых век глядел на него.

Какие рассказы слыхал «Блиновский пассаж»! Какие люди проходили перед слушателями, зрителями! Фигуры оживали, декорации сдвигались с мертвого места. Канувшее становилось жестокой живой метелью, бьющей прямо в лицо. Люди ежились под пулями слов. Люди пригибались, защищали головы ладонями, когда Ильич сам сгибался в три погибели, изображая, как он бежал из лагеря с двумя напарниками, а третий был «поросенок», для еды взят в побег, – чтобы улучшить минуту в тайге и убить «поросенка», и разделать, и зажарить на костре, и съесть. Люди защищались от пуль, а пули свистели. В устах Ильича все обретало жизнь. Андрею становилось страшно и весело. Он жалел лишь об одном: вот умрет старик, и все чудо ужаса и святости той Жизни, где царила одна лишь Смерть, уйдет вместе с ним. Слушая Ильича, он чувал, как сдвигаются времена. И когда старикан устал говорить, хрипеть, вскрикивать, когда все было выпито и съедено, и вдохновенье иссякло, и слушатели, краснолицые и бледнорожие, потихоньку расползлись, утекали из бара вон, на улицу, – Андрей, сам изрядно накачанный уже, пристально посмотрел на Ильича и взял третью бутылку у усмехавшегося сытого бармена.

И, когда они остались за шатким одноногим столиком одни, он приблизил разгоряченное водкой лицо к изморщенному, как печеное яблоко, лицу старика и стал хвастаться ему. Его распирало, и он не мог не рассказать такому душе-человеку, такому чудесному Ильичу, что его ждало завтра, какая удача. Разве удачу можно сглазить? Удачей надо делиться, ведь он счастлив. Он начинает свое дело. Его дело не простое, да, страшное. Но оно должно принести ему много денег. Он займется оружием. Его ребята будут качать с военных заводов оружие и перепродавать на Запад и Восток, в горячие точки, где оно, оружие нужно позарез, хоть застрелись, и делать на этом немалый навар; и они все заживут хорошо, просто здорово, и тогда он, Ильич, будет получать из рук Андрея хоть каждый день чекушку, он купит ему петровский гжельский штофик, и он сам, Ильич, будет угощать друзей в чепках и трактирах. Ура!.. Андрей чувствовал – он сильно пьян. Его несло, как локомотив несет состав прочь с ледяных изогнутых рельсов, вон, к зимним звездам, в крушение. Это было упоительно. Он чувствовал великую свободу, радость, крылья за плечами. «А... не страшновато тебе?.. – спросил Ильич хрипло, закуривая неизменную „беломорину“, влажно покашливая – в незалеченных кавернах клокотало и гудело. – Оружье, убийство... смерть, браток, смертью будешь торговать!.. Не накажет тебя Бог-то, а?!..» Ослабившись, долго, пьяно глядел на Андрея. Они оба, вцепившись непослушными пальцами в столик, покачивались, беззвучно хохотали. Это ж надо, надраться с нищим. Это от большой радости. Радость разрывала его надвое. Ее невозможно было держать в себе. И, поманив старика пьяным негнущимся пальцем, прислонив его лысую медную голову к своей, молодой и кудлатой, он сказал ему все на ухо. Все выболтал пьяный язык. И у кого и где возьмет, и сколько; и в какой валюте; и кто его будет ждать с деньгами, чтобы сразу распределить вложения, роли, работу, надзор.

Ильич чмокал тонкими сухими губами, кивал. Андрею казалось – он слушал вполуха. А ему надо было, чтобы старик как следует вник, чтобы обрадовался вместе с ним. «Ты!.. – потрянул он старика за воротник. – Ты врубился?!.. это ж такое дело, в жизни раз бывает... не каждому так везет...» Ильич потянулся к горлу бутылки. У, все, две капли на дне!.. «В жизни раз бывает восемнадцать лет, – наставительно сказал он, беззубо скалясь. – Давай разольем по капле на рыло... и еще возьмем?.. – Он просительно глянул в лицо Андрею снизу вверх. – Да радуюсь я твоему успеху, радуюсь!.. Чтоб прибыло тебе, мил человек, одно плохо – смертью будешь торговать... смертью...» Андрей не помнил, взяли они еще бутылку или нет. Кажется, он сердобольно отговаривал старика от продолженья. Как он добрался домой, он тоже не помнил. Он запомнил только блеск стариковских глаз из-под сморщенных век – два огня, две головни, всаженные в дубовую кору лба, в костяное дупло черепа. Как били его в лагерях

да на этапах, не доби́ли. Внимательный блеск... вовсе не пьяный, не сумасшедший...

Андрей дернулся под насевшим на него человеком. Сейчас, лежа на спине, он мог хорошо рассмотреть его. Ночь была лунная. Полная Луна озаряла бритую голову, расстегнутый пиджак, завязанную на пузе хулиганским узлом рубашку, загорелую крепкую, жилистую шею. Убийца был не уродлив, а красив. Пожалуй, слишком красив для убийцы. Длинные, в густых ресницах, глаза. Прямой нос, красивый веселый рот. Чуть впалые щеки, широкий лоб с бритыми залысинами; лицо героя, победителя, радостного властелина. Если б он встретил такого красавца на пляже, подумал бы: вот девчонки сохнут, тают. Неужели этот смазливый человек убьет его?!

Вот только голос. Голос, тяжелый, чугунный, мрачный. Будто черным молотом, не кулаком, бьют по зубам, по ушам, по затылку.

– Ты, сявка. Долго я жду. Я не привык долго ждать. Кто передал тебе деньги?!

У Андрея пересохло во рту. Тяжелое тело давило на него. Он напряг мышцы живота, чтоб не так больно было. Он задышался. Как он убьет его?! Задушит?! Как это страшно, противно – задохнуться. Он хочет, чтобы я назвал ему имя. И адрес. Александр, я не назову тебя. Александр, я никогда не назову тебя.

Назови имя! Назови имя! Укажи, где живет! И он отпустит тебя!

Я назову имя, назову место, и меня все равно убьют. Тут же убьют. Я не нужен. Я изработанный материал. Я источник информации. Я дрянная грязная бумажка с записью; дело исполнили, записку порвали. Выбросили в урну.

Я человек! Меня нельзя выбросить в урну!

Можно все. С людьми люди вытворяют все. Где написано, что можно делать людям с людьми, а чего нельзя?!

Везде. Везде это написано. Не убий?! Не укради?!

– Пошел ты, – выдавил Андрей разбитыми губами. Сашка, меня убьют все равно, но меня одного. Тебя не убьют. И жену твою Ольгу не убьют. Я Ольгу любил, еще когда учились. Она была такая беленькая, как цыпленочек. Она же такая маленькая. И доченька у вас с ней. Лучше я один уйду. Один. Я хотел торговать оружием. Прав был Ильич: а не опасно ли было начинать. Вот оно, возмездье.

Возмездье?! Старик его и продал! Продав... за две бутылки водки! Этому... что гнет его, душит его... бьет его по лицу стальной рукоятью револьвера... Андрей, сколько стоит хороший револьвер?! А?! А хороший новый АКМ?!

А дальнобойные... а гранаты... а многозарядная «беретта», только из-под станка?!

– Тебя... подослал Ильич?.. – выхрипнул Андрей, корчась под красивым убийцей. Убийца засмеялся. Он смеялся мрачно – будто камни перекатывались в его красивом белозубом рту.

– Не в те разговоры вступаешь, сволочь, – кинул он сквозь белые зубы. Андрей подумал в мгновенном ослеплении догадки: револьвер при нем, но пулю на него он тратить не будет. Убьет тяжелым, по голове. – Не то брешешь! Пробрехай то самое! Не хочешь?.. Чистеньким хочешь убраться... ах ты!..

Он, сидя на нем, пошарил вокруг себя глазами. О, отлично. И нашел-то сразу. Андрей увидел в руке мужика огромный булыжник, волжский валун, со срезанным, будто сыр, обгрызенный мышью, острым краем-сколом.

– Ну, говори, – весело выдохнул он. – Говори, сука. Такие денежки при себе таскать. Ты как олигарх прямо. Оружием захотел промышлять, гад. Такие, как вы, страну предали, продали. А нам выпало спасать самих себя. Вы ради денежек готовы всех перестрелять, падлы, и баб и деточек, всех. Хорошо я тебя накрыл, гад. Сейчас ты мне все выложишь, как на духу. Как в церкви у батюшки. В церковь, небось, ходишь, падла!.. Знаем мы вас, новых таких... в Боженку веруете... свечи зажигаете... нищие костюмчики, – он уцепил Андрея за лацкан расхристанного пиджака, грубо рванул, – нацепляете... маскарад, вашу мать... с одяшками водочку киряете... а сами-то, сами!.. у, сволочи!.. Скажешь?!.. Нет?!..

Тьма перед глазами. Андрей набрал во рту слюну с кровью, собрался с силами и плюнул сидящему на нем в лицо.

Тот медленно отер лицо. Его красивое лицо начало багроветь. Покраснел лоб. Побагровели щеки. В лунном свете было видно, как краска сползла, стекла на шею, залила грудь в расстегнутом вороте рубахи.

- Что-о-о?!

Сидящий на нем занес над его головой камень. Последней мыслью Андрея было: какая радость, какой праздник, Сашка, ты понял, я тебя не выдал, я спас тебя и Ольгу и твою дочь, благодари Бога, что я Ольгу так любил. И чувство радости, гордости: я сильнее, чем ты, кто поднял камень надо мной, сильнее!.. – затопило его всего, целиком – так Волга смывает, захлестывает с головой, несет, вертит, уносит в водовороте в ледоход, по половодью, сине-золотая, сильная красавица Волга, а вблизи, когда тонешь, хватаешь воду орущим ртом, ее вода мутная, грязная, а издали, с обрыва, – все равно яркая, слепяще-золотая.

Круглая полная Луна нагло стояла в небе над ними, в зените. Авель вскинул глаза, перевел с камня, воздетого над его головой, на лик Луны. Луна, прошептал он, Луна, милая, я так люблю тебя, ты моя последняя женщина. Возьми меня к себе. Широкое черное ложе, и ты раскинулась, полная, белая, золотая. Он повернул голову, и висок его оказался удобен для поражения его.

И Каин вскинул острый камень и сильно, размахнувшись, ударил его.

Не убил; только ранил. Рассек висок, рассек височную кость. Авель закричал – протяжно, жалобно. Он кричал и думал: вдруг кто услышит! Вдруг услышит старый Адам; старая Ева, прядущая овечью шерсть, вдруг да услышит! Тишина стояла над рекой, ночная тишина. Звезды лениво перемигивались в теплой ночи. Верховой ветер гулко гудел, и было боязно – вдруг он звезды смахнет.

И Авель в судороге последней борьбы согнул колени, напрягся; и сжал между коленом и животом ногу Каина.

И крикнул: брат мой! Ты человек! Зачем ты убиваешь меня, человека! Зачем я ненавистен тебе! Я все равно не скажу тебе, чего ты хочешь!

Каин навалился на него грузнее. Задышал тяжело, бешено. Авель извернулся. Кровь текла у него по виску. Он стал бороться. Он превратил свои мышцы в стальные пружины, в железо, в суковатые палки превратил локти, колени – в дубины. Он вымахнул ногой и стал валить Каина на землю. Каин снова взмахнул камнем. Он опустил камень на затылок Авелю с размаху, не острием, а круглым тяжелым боком.

И огромная боль затопила Авеля. Костер боли вспыхнул в нем. Боль взорвалась внутри и стала разрывать его на клочки. Он видел незрячими глазами, как золотые куски, клочья и лоскуты его плоти летят по ветру, по сильному ветру. Каин швырнул его разбитую голову вниз, и она ударилась о землю; и в рот Авелю набилась сухая земля и песок, и высохшая горькая трава, и мелкие камни. Он плевал все это вместе с кровью. Он крикнул: ударь меня еще раз! Убей! Какой же ты мужик, что не можешь меня убить!

И Каин рванул ворот рубахи, и страшное, темное ругательство вылетело из него. Он схватил Авеля за локоть и дернул его локоть к себе, и вывернул локоть, и повернул его лицом к себе. И, когда он повернул его, Луна высветила его глаза до дна: какая чистота сияла в них, какая радость, праздник – над перекошенным, разбитым в кровь, оскаленным зверьим ртом. Человечьи глаза и волчий рот.

И понял Каин, что люди и звери раньше, в Эдеме, откуда изгнали их бедных родителей, были – одно; и понял он, что человек жесточе и хуже зверя, ибо зверь никогда не убивает, чтобы ограбить, потешиться, отомстить, насладиться; человек убивает лишь из-за этого, ибо когда ведет человек войну, он убивает, защищая. Один на один! Брат на брата! Как страшно крикнул он, имя которого он не знал, а на самом деле его звали Авель: я ведь брат тебе, за что же?!

И поднял Каин камень еще раз и крепко ударил. Обмякли мышцы того, кого он убивал. Вышел из груди воздух. Шевельнулись губы. Он с ужасом смотрел. Губы сложились в улыбку. Губы сложились в нежную, бледную кровавую улыбку, и Луна озарила все освещенное улыбкой лицо, и Каин разобрал последние слова того, кого он убивал, не зная имени его, так и не узнав брата своего.

Перепаханными в крови губами убитый шептал: я уйду к Луне, я не убью ее, я никогда не выстрелю в нее. Я больше никого не убью, никого.

Надо заставить себя одеться, надеть старую дубленку, лисью шапку и выйти на улицы. Лунная ночь, тишина и снег. Можно гулять кругами, ходить вокруг дома, будто выгуливая невидимую собаку; можно пойти на Центральный телеграф, он круглосуточно работает, и погреться там, посидеть, ибо звонить ночью никому негоже; можно добрести до киоска с винами и печеньями, взять бутылку легкого вина и пачку печенья с изюмом – зачем?.. Не изюм ли эти звезды в небе? Не черное ли вино это бездонное пьяное небо, льющееся тебе в запрокинутое лицо, в полуоткрытый рот, в немую глотку?!.. Как хороша ночь. А Луна краше всех. Кто никогда не смотрел в лицо Луны, тот не знает, что такое женская красота.

Я ведь тоже немного сошла с ума после того, как убили тебя, Андрей Пчелкин. Кто ты был такой мне?.. Тяжело найти ответ. Да и надо ли. Пирушка в гостях; такая же лунная ночь, только летняя; и мы вдвоем выбежали на лужайку, и ты внезапно поднял меня на руки, и понес под Луной, будто показывая Луне, будто гордясь мной и выхваляя меня – ей. Я хохотала. Я была немножечко пьяна. Пусти, пусти!.. Ты поставил меня на землю, на траву, блестящую под Луной голубым и синим светом, как гигантские кристаллы флюорита, и я поцеловала тебя, а ты – меня. Вот и все. Все?.. Да, потом мы оба были голые на чужой кровати, огромной, как пустыня; и самое смешное – наши крестики сплелись, два крестильных крестика, и оба – не на цепочках, а на ниточках. Разве это главное между людьми. Соединенье людей – не соединенье плоти. Плачущие души сплетаются ниточками, крестами.

О том, что Андрея убили, а потом утопили в Волге, мне сказал его друг Александр. Александр уезжал в Москву на машине; он разыскал меня, сунул коробку конфет, расцеловал: «Ну как житуха-то?..» Слово за слово; как Андрей?.. – спросила я весело и незначаше, нисколько не волнуясь, – ведь прошло, все прошло, остыл жар тех нагих тел, тех двух золотых крестиков, что сплелись сильнее, чем руки и губы, – я жила совсем другой жизнью и не думала о той, прошлой, – и Александр потупился, вытащил из кармана пачку сигарет, помрачнел: «Убили. Убили зверски... и утопили. Летом он пропал. Искали везде. Не нашли. Без вести... А осенью отыскали. Осенью лишь, в октябре, перед самым ледоставом. Тело уже все обезображено водой... распухло... сначала не смогли опознать... потом мать узнала пиджак... мать – повалилась без сознания, думали, что тоже умрет... Я тебе не звонил давно... ты уж прости. Думал – не надо беречь... прежде ведь...» Я помотала головой, отгоняя виденье. Я не могла говорить. Слишком тугую петлю накинули мне на горло и сразу затянули.

«Его... утопили?..»

«Сначала били камнем по голове... череп проломлен... раны на лбу, на темени...»

Смерть. Смерть человека. Я помню его живого. Я помню...

* * *

«...четырнадцать лет молодой Исса, благословенный Богом, переправился на другой берег Инда и поселился у арийцев, в благословенной Богом стране.

Слава о чудесном отроке распространилась в глубину северного Инда; когда он следовал по стране Пенджаба и Раджпутана, почитатели бога Джайна просили его поселиться у них.

Исса ходил к судрам проповедовать против браминов и кшатриев.

Белые жрецы и воины, узнавши речи, которые Исса обращал к судрам, решили его убить, для чего послали слуг отыскать его.

Но Исса, предупрежденный об опасности судрами, ночью покинул окрестности Джаггерната, добрался до горы и поселился в стране Гаутамидов, где родился великий Будда Сакиа-Муни, среди народа, поклоняющегося единому и величественному Бrame. После шести лет Исса, которого Будда избрал распространять свое святое слово, умел объяснять в совершенстве священные свитки Сутр.»

Луна, желто-оранжевая, как спелый мандарин, глядит в окно сквозь ледяные хвощи на стекле. Я протягиваю руку и скребу наросший на стекле лед ногтем. Жизнь Иссy, праведника, лучшего из Сынов Человеческих, в земле Востока, в Индии и Персии и Тибете. И правда, куда исчезал Иисус от своего четырнадцатилетия до своего двадцатидевятилетия? Где бродил он, камни каких гор кололи ему босые ступни?.. Он вернулся в Иудею, вернулся в Палестину, вернулся к родному морю Галилейскому. Каждый все равно возвращается на родину, туда, откуда он явился в мир. А живущий?.. Куда

возвращается живущий?.. Не есть ли родина каждого живущего – смерть?.. Не в нее ли мы возвращаемся, каждый из нас, – и радоваться надо, и бить в бубны и тимпаны, а не отвращаться в страхе, не бежать прочь в ужасе, протягивая руки к жизни, какой бы она ни была – нищей, постылой, страшной, гадкой?.. Они, те, тоже убили его. В рукописи Тибетского Евангелия, найденной в буддийском монастыре Хемис сто с лишним лет назад, сказано прямо – так, как и у Матфея, Иоанна и у других канонических евангелистов: «По приказанию правителя воины схватили Иссу и двух разбойников и отвели их на место казни, где пригвоздили ко врытым в землю крестам. Весь день тела, с капающей кровью, Иссy и двух разбойников оставались висящими, под охраной воинов; народ стоял вокруг; родственники казненных молились и плакали». Молились и плакали! Какое счастье им было – они молились и плакали, зная судьбу любимых! А мать Андрея?! А матери всех, невинно убиенных?! Всех, в кого выпущены безымянные пули, кому череп раскроили безвестные острые камни...

Тибет. Твердыня. Голубые срезы гор. Чистое бесстрастное небо. Загнутые, как раковины, крыши монастырей, и колокольный звон несется над снегами: цзанг-донг, цзанг-донг. Где-то там, в горах, знаменитая страна, откуда ведется дозор над людьми; где смертные, попав туда, не умирают. А может, тоже умирают, но ощущая лишь радость смерти, а не ее неизбывное, ничем не преодоленное еще горе?!

Я не была ТАМ, но я будто видела ЭТО. Пусть скажут мне, что это святотатство. Что нельзя сравнивать смерть смертного и смерть Бога. Каждый из нас, умирая, искупает свою смертью грехи тех, кто придет после нас. Когда и кто отмолит последний в мире грех?! Ты видишь, Господи, Тебе это сделать не удалось.

«И когда приколачивали их ко крестам, лицо Иисуса исказилось, и между сжатых зубов вырвался стон; рядом с ним распинаемый разбойник страшно кричал, не желая умирать, страдая невыносимо. И тогда обернул Иисус к кричащему от боли разбойнику лицо Свое, и посмотрел на него сочувственно, и сказал: не кричи так сильно, брат мой, ведь боль есть только воспоминание о боли, больше ничего; тебе было больно, когда мать била тебя прутом за украденную у отца монету; тебе было больно, когда в драке бил тебя друг твой, становясь для тебя недругом твоим; тебе также больно было, когда в сражении в тебя вонзали меч и выдергивали его, и потом женщины перевязывали, плача, раны твои; а сейчас ты умираешь, и боль выходит из тебя вон, освобождая тебя, твою душу для жизни иной, а ты думаешь – боль входит в тебя; так что же ты кричишь и плачешь? Ты просто вспоминаешь о боли,

бывшей в тебе и с тобой прежде. Молись Отцу нашему Небесному, и всякая боль уйдет из тебя, и всякая боль покинет тебя, ибо час твой близок, а также и Мой. Мы оба стоим на пороге свободы, и мы должны встретить ее с улыбкой. Страшен младенцу, лезущему из утробы, момент родов; младенец жил во чреве удобно и тепло, купался в серебряных околоплодных водах, у него была всегда пища и сон; и вот наступил ужас и землетрясение, и воды хлынули наружу, и небеса разверзлись, и младенец испытывает невыносимые муки, прокладывая себе путь наружу, из одного мира в иной мир. Так и мы, брат мой, прокладываем дорогу из этого мира в Иной Мир, и страшен переход; но, когда мы перешли по шатким узким мосткам страшную дорогу, где нас поливают стрелами, бросают в нас копья, секут нас саблями и мечами, вбивают нам в запястья гвозди – уже не страшно нам, уже радость и веселье объемлют нас. Всегда страшен переход; так разлука страшна расстающимся, но, когда она расстанутся, они терпят муки разлученья и привыкают к ним, и молятся за того, с кем разлучились; всегда страшен нож врача больному, но, когда врач взмахнул ножом, отсекая страдающий член, уже облегченье испытывает больной, но никак не страх и страданье; всегда страшна человеку смерть его, но, когда он перейдет сию страшную его дорогу из бытия в смерть, он уже не помнит страха – так женщина, рождая, терпит скорбь, но когда родит, уже не помнит скорби, как сказано в Писании. Так и ты не упомнишь страха, брат мой по Распятью; улыбнись! Улыбнись и возрадуйся смерти своей! Нет ничего, что могло бы помешать грядущей и вечной радости твоей! Ты спасешься, ибо ты глядишь на Меня с верой и надеждой! И любовь Я тебе даю, ибо последней любовью жив человек в жизни вечной, куда собирается он всю жизнь земную, приготавливая к ней пожитки, собираясь в дальний путь без возврата.

И улыбнулся Иисус разбойнику леворучь от Креста; и, пересилив боль свою, улыбнулся Ему разбойник, и тотчас мучительная боль покинула его, отойдя от него; ибо он произнес молитву, чувствуя, что вступил на путь, последний путь без возврата, и страх покинул его навсегда, уступив место великой свободе и блаженному ожиданью, ибо Иисус, не отрывая взгляда Своего от него, прошептал ему: сегодня же будешь со Мною в Раю.

А разбойник справа от Креста все плакал, стонал и сыпал проклятьями, и не мог Иисус воззвать к нему, чтобы он прекратил поношенья и проклятья свои; и, улучив минуту, когда в молчанье воздели молоты свои воины, вбивавшие гвозди в запястья и ступни казнимых, вздохнул и тихо сказал: вот, кричишь ты, неразумный, а можешь счастье свое потерять, ибо не всякий, кто вступает на Дорогу, проходит ее.

И солдаты, рассмеявшись, оскалив зубы, на веревках подняли все три креста вверх, и раскинули кресты черные крылья свои в ясном солнечном весеннем дне; и разбойник справа от Креста смеялся сквозь слезы, а разбойник слева от Креста плакал и рыдал, скрежеща зубами. И народ тоже плакал и молился, и воздевал руки; и солдаты поднимали копья и копьями кололи Иисуса под ребра, а с небес, занавешивая апрельское солнце невесомым пологом, шел безумный снег, заметая и высокий лысый холм над ледяной рекой, где воздвигли кресты, и мужиков в рваных зипунах, и плачущих баб в серых телогрейках и ватниках, и детей, утирающих носы, и черных собак с закрученными крючком хвостами, и солдат в железных касках, с вздетыми пиками и с ружьями за спиной, с пистолетами за туго стянувшими гимнастерки ремнями; вот, Господа нашего казнят всегда, во веки веков, аминь, а мы никогда не можем спасти Его, мы, слабые, сомневающиеся, маловерные».

Ибо не всякий, кто вступает на Дорогу, проходит ее.

Не всякий смотрит и видит. Не всякий, очаровываясь, любит, и продолжает любить и без умершего очарованья.

Андрей, успел ли ты вступить на Дорогу?! Когда рука поднимала над тобой камень...

Не задавайся вопросом, кому и зачем нужен был этот человек, прошедший в твоей жизни легким дыханьем забытой молитвы. В чьих руках зажато в мире зло? И ведь не ты, не ты перебьешь в кости эти угрюмые руки. В эту игру сыграют без тебя.

Тебе важно понять: на Дороге ты или свернула с нее вбок, и никакой Бог тебя не вернет к себе и к Нему. Тех, кто свернул с Пути, при переходе в состоянье бардо ждут мученья.

А что такое состоянье бардо?.. Луна усмехается мне за искрящимся морозным стеклом. Ее раскосые глаза смеются, хохочут надо мной. Азия огромней, чем старушка Европа; Азия мощнее. Европа – лишь жалкая фреска в огромном поднебесном храме Азии. Иисус, ты слышишь, учился там, в синем холодном Тибете. Он был человек, и Он прожил человеческую жизнь – скитался, бродил, смеялся, влюблялся в придорожных женщин, ел рыбу и мед, молился, не спал

ночами, отчаивался, бредил, болел, задумывался, наморщив высокий лоб. Ересь?! Конечно. Ведь и Он, говоря бессмертное ученье Свое, был в глазах израильских ортодоксов немислимым Еретиком. А потом все поняли, что Он – Бог; но было поздно.

Но Он – воскрес. Чудо Воскресенья. Страшное чудо Воскресенья.

А мы?! Разве каждый из нас – воскреснет?!

На Страшном Суде, сказано же тебе, дура, давным-давно; на Страшном Суде.

Он единственный воскрес на земле – до Суда. Ибо Он сам – Судия.

А Андрей?! Андрей – не воскреснет?!

А отец мой, отец мой земной – не воскреснет?!

«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его; яко исчезает дым, да исчезнут... яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Господа... любящих... любящих...»

Любовь. Любить ближнего. Любить родного. Вот счастье.

Отец мой, великий художник, родившийся на Николу вешнего, умерший на Николу зимнего! Ты прошел Дорогу из конца в конец. Я не смогу воскресить тебя. Нет, смогу. Я попробую. Я попытаюсь. Это будет лишь эскиз. Черные угольные штрихи на серой рваной бумаге. Судорожные наброски – обгорелой головешкой из печи на беленой печной стене. Так однажды, сильно пьяный и празднично-веселый, ты, подмигнув мне, взял в руки уголь и нарисовал свой профиль на стене – мол, вот я, оставил себя. Микеланджело выбил на мраморной ленте, украшающей слабенькую полудетскую грудь безутешной Марии Пьеты: «Мастер Микеланджело сделал это». Я знаю, Бог даст мне силы жить, чтобы потом, позже, я изваяла тебя – живого – в полный рост. Луна, не гляди на меня таким мертвым смеющимся лицом. Мне тебя впервые показал отец – давно, когда я ему ростом не доходила до колена.

Отец, спи с миром. Андрей, спи с миром.

Луна, ты тоже мертвая над миром; спи с миром.

Все мои мертвые, спите с миром.

Я люблю вас. Я приду к вам. В свой черед.

Когда?!

Рельеф второй. Яства детства

Я так помню всю эту еду.

Я так помню всю нашу еду, черт возьми, что слезы текут и текут по щекам, безостановочно. Будто я снова, опять, как тогда, в зале старого Художественного фонда, где сильно пахнет краской, олифой и известкой, сижу у гроба твоего, и гляжу на твое мертвое лицо, и еще не верю, что ты прошел Путь, что ты совершил Переход; Переход Суворова через Неведомые Альпы, что никто не изобразит никогда, ибо когда живой изображает смерть, у него и перо, и кисть падают из рук, и, чтобы не сойти с ума, он изображает лишь подобье смерти, лишь ее картонную куклу; лишь предгорья ее, не вершины; лишь ее ноги с ледяно-синими ногтями, как Мантенья на холсте выпятил, приблизил к зрителю ноги снятого с Креста Иисуса, – не лицо ее, в кое нельзя поглядеть.

Нет сил, чтобы не плакать над той едой. Над тем, что мы ели, чтобы жить.

Человек ест, чтобы жить, ну да; разные народы варят разное варево, у всех оно свое. Котел – священен. Очаг – это жизнь. Все смерти на свете искупятся очагом. Когда я буду умирать – что я захочу поесть, что возжелаю, чтобы мне положили на язык?.. Последнее лакомство этого света... Что?.. Мандарин?.. Новогодний орех из папиных рук, там, под колючей черно-зеленой елью, где я впервые ощутила чувство безвозвратно уходящего времени, перебирая в руках бумажные игрушки, на которых была начертана четырехзначная цифра навек ушедшего года?.. Клюквенный кисло-сладкий морс?.. А может, беляш, мамин беляш из маминых рук – ведь там, на небесах, они никогда не истлеют, руки, и никогда

не перестанет пахнуть жареным мясом румяный круг запеченного теста?..

Они так пахли. Так сильно пахли. Крупные, толстые беляши, если укусить – пряный луковый и мясной сок поползет по пальцам и подбородку, и надо громко втянуть в себя воздух: «У-у-у-уп!» – чтобы сок втек в твое жадно дрожащее зверюшкино нутро. Беляши. Матушка пекла их в праздник. Праздник был окрашен по-разному: то в красный цвет, кровавый, с мотающимися на ветру флагами, то в белый – снежный, ледяной. Белый искрился разноцветьем, радугой Новогодья.

В Новый Год делался обязательно холодец. Он варился из телячьих ножек. Матушка шла на Мытный рынок с большими сумками; охая, возвращалась, – радость: добыла! вырвала последние ножки у торговки! – перед целым воинством гневных баб, жаждущих холодца тоже. Нити цветных ламп, развлекательно-праздничных гирлянд, трепались в черном ночном воздухе на ветру, над бледными городскими фонарями, на худых, тощих проводах. Это был праздник. Пахло чудом. Холодец варился всю ночь в громадной кастрюле. Матушка вставала, сонная, в ночной рубашке, поглядеть на варево. Помешивала ополовником, пробовала. Соли мало. Или: напротив: соли много. Тогда бухалась в кастрюлю еще кружка воды, крошился зубочек чеснока. Смуглые толстые руки мамы, высывающиеся из раструбов ночной рубахи, были двумя живыми танцующими дамами, карнавальными масками, и они веселились отдельно от строго, постно-монашьевого спящего лица. Крошили, сыпали, резали, взлетали. Сверкал нож. Я вставала в проеме кухонных дверей, тоже в ночной сорочке, и дух мой стеснялся: и от запаха еды, и от созерцанья волшебной матушки. Сказки, кухня, Золушка в золе, Матушка Гусыня... Очаг – утлая газовая плита с синими языками пламени – заменял мне средневековый вертел, баранов и гусей, политых в гостеприимном замке Кота в Сапогах лимонным соком.

«М-м-м, какое чудо холодец», – выдыхала наконец матушка, захлопывая крышку кастрюли. А в другой кастрюле, на обшарпанном подоконнике, всходило тесто, опара. Кислое тесто – для беляшей. Если прижаться носом к стеклу, можно увидеть черные крыши и тощие трубы, серое небо, мышинового цвета кота на узкой, как гимнастическое бревно, лавке и белый ослепительный снег, жалящий глаза снопами и перевязями красно-сине-золотых искр. «Алмазный снег, сверкай, велик твой бег, широк твой Рай», – шептала я снегу. Я не знала, что я шепчу стихи. Вот так же сверкал снег и год назад. И тысячу лет назад. И сто, двести, триста тысяч миллионов триллиардов лет назад. И...

Пахло беляшиным тестом; пахло холодцом, и утром его уже разливали в длинные прямоугольные формочки, чтоб поставить застывать в холодильник. Отец готовился тереть хрен. Он повязывал голову полотенцем, в рот брал горящую сигарету, а живот обкручивал старой рубахой, которой уже особо не дорожил и собирался ею вытирать кисти. Отец брал в руки мелкодырявую терку и терпеливо, долго, бесконечно, с заунывными песнями, тер хрен. Сигарета его дымилась, он стряхивал пепел в раковину, в грязные тарелки, по его огромному, загорелому на рыбалках лбу тек пот, лицо заливали слезы. «От хренок!.. От хренок!.. – стонал он с наслаждением. – От я герой!.. Який же ты лыцарь, колы ты нэ можешь холою рукою узять ежака и пидложить пид сэбэ!..» Отец, родом из станицы Марьевки, виртуозно изъяснялся по-украински. Готовя еду, он живописал ее, как если б это была картина. Жаря утку, он крошил в нее и вокруг нее, кроме яблок, еще и: сельдерей, морковь, петрушку, финики, хмели-сунели («съели-сумели!..» – весело кричал он, рифмуя), раскисшие дрянные помидоры, лук, перец, шматочки старого сальца и вообще все, что в доме нашлось и под горячую смелую руку художника попало. Боже! Как это было вкусно! Объяденье! В московском ресторане «Прага» не едали такой пищи. Сам же ресторан потерял, в лице отца, лучшего своего шеф-повара.

Опять же отец был добытчик. Он добывал нам рыбу. Всякую. Шкодливых карасей, золотых тяжелых, как утюги, линей, узкую ножевую чехонь, – он ее вялил, сперва замачивая в соленой воде под гнетом, а после развешивая на тонких лесках, и с хвостов чехони капал жир, – язей и лещей, – этих мы жарили, но и сушили тоже, в зиму, – отец бесстрашно рыбачил на Оке, Волге и Суре, бывало, и стерлядок хорошеньких вылавливал...

Стерляжья уха... Тройную мы варили – на костре. Сначала отваривали мелких ершиков. Сливали через сито, ершишек костлявых выкидывали; далее в той ушце варили подлещиков и сорожек и, наконец, перекрестясь, закладывали в котелок крупную длинную стерлядь. И еще клали – непременно! – перо дикого, из лесу, лука и листочки черной смородины – для вящего запаха. Варилась тройная уха на костре в закопченном отцовом рыбацком котелке. А костер-то горел в Пандиковском лесничестве, в сердце Чувашии, рядом с рекой Сурой, и, кроме варки ухи, отец писал тогда маслом на холстах чувашек в черных нарядных платьях и богатых золотых монистах, чувашскую свадьбу – невеста в розовом, на спине бант, грудь вся блестит от сусального золота монист, золотая крупная чешуя падает на плечи, на живот, гармонист наяряивает танец, девушка вертится перед озером зеркала... маленький этюд к большой картине, я помню его, как помнят запах молока по утрам; где этот холст?.. в каких бурях

жизни сгорел?.. Холсты, картонки, бумаги, краски – в крупных красивых загорелых руках отца, перед моими восхищенными глазами... Холст с черной чувашской лошадкой, – не лошадь, а конь, коняга по кличке «Тупняк». «Тупняк, Тупняк, поть сюта!» – «Что это ты его, дядь Ваня, как кличешь забавно?.. Тупой конь у тебя, что ли?.. Дурачок?..» – «Та нет, миленькай, этта он под тупом ротился. Пот тупом, кофору!.. Сначит, имя ему – Тупняк...»

Под дубом, слышите ли, под дубом, – ласковый черный конь вечно стоит теперь на картине, и нежная серебряная зелень наметанных стогов, и серебристое дерево старой телеги, из которой конь осторожно ест сено, поют мне о том, что душа отца счастлива и спокойна там, на Небе.

А карасей он жарил в сметане, а мне было жаль их, маленьких круглых, похожих на чувашские мониста, рыбок, – и я плакала, но ела, потому что вкусно было! Запах от сковородки с карасями летел по округе, мешаясь с запахом цветущих вишен и яблонь, а окна были открыты в лето, распахнуты в свежесть и синь. Душа, если ты есть, – помнишь ли ты это?!.. Я верю, что ты есть. Я верю, что ты, душа, слышишь меня. Важно успеть МНЕ. До своей Смерти успеть – запечатлеть все дорогое, живое, – чтобы тебе, душа любимая, ТАМ хорошо было.

Когда отец умер, по углам все трещало, будто растрескивались сухие доски, будто трещали от сильного мороза стены деревянного дома, – а мы с матушкой жались друг к другу, зареванные, дрожащие, под одеялом, одним на двоих, на диванишке, – в доме каменном. А на третий день после его смерти мы, трое, стояли на кухне, готовя еду, нам не лезшую в глотки – мама, я и мой сын, – и сверху, НИОТКУДА, на наши руки капнули мелкие капельки, и сделались на коже рук такие странные дорожки из капелек. Сын слизнул. Соленые? «Это слезы! Это слезы чьи-то!» – закричал. Мать перекрестилась. «Это он, он», – шептала.

И я поцеловала свою голую руку, то место, куда упали посмертные слезинки отца, по нас по всех, осиротелых, заплакавшего.

Луна, не гляди, отвернись. Твое холодное белое око пронзает меня насквозь.

Не умею я думать об этом. Не умею молиться.

Господи, научи.

Он оглядел палату пристальным взглядом. Его сосед, раскосый татарин, подворачивал рукава больничной пижамы: короткорукому пижама была велика, он скалился, щелки глаз масляно блестели, во рту посверкивала тюремная фикса. Он глядел на все, жадно вбирая глазами, запоминая. Зачем помнить?! ТАМ ты ничего не будешь помнить. ТАМ тебе не нужно будет помнить. А что будет ТАМ?! Он вспомнил, как мудро говорила его теща, гордая, как старая актриса, зятая в черное – Ермолова, Пашенная, – полная достоинства старуха: «Для кого там тьма, а для кого – и свет». Что Бог уготовил ему?! Не думать. Нельзя об этом думать. А задышаться – можно?! А звать сестру, чтоб прибежала с уколom, временно облегчающим дикие страдания, – можно?!

Беспомощность появилась в его взгляде. Он закрыл глаза и вдруг увидел себя со стороны, сверху: будто его душа вышла из него и увидела его, распластанного на железной койке, всего – бледное, отечно-синюшное лицо, исполосованный морщинами высокий медно-загорелый лоб – он всегда сразу и крепко загорал летом, особенно на рыбалках, а в это лето ему не удалось порыбачить, он уже хватался за сердце, сидел в саду, так солнце и обожгло ему лоб – под яблоней. Сигарету бы в зубы. Если долго не курить – чувство, что уши пухнут. Они запрещают ему курить. Они вкалывают ему в жилы всякую гадость. Зачем внутрь человека вбрызгивают разные яды? Есть только одно старое лекарство для мужика – водка. Сейчас бы рюмку-другую, и закусить соленой рыбкой, селедочкой, скумбрией. Об этом даже запрещено мечтать. Ну-ка выбрось из головы всякую жизнь. Завтра придет грустная жена, будет глядеть на него соблезнующе, а у самой будет такой цветущий, яркий, веселый вид, и она будет стыдиться того, что так цветет, и она будет понимать, что он умирает, а она – цветет, еще живет и будет жить, и она будет скрывать это от него, вздыхать, поправлять одеяло, улыбаться, говорить бодрячки, возбужденно: «Ничего, Коля, ты скоро поправишься, гляди-ка, у тебя и щечки пополнели». А у самой в глазах будут стоять кипящие слезы. Какая дикость. Зачем люди обманывают друг друга. Она же прекрасно знает – он умирает. Зачем же врать – и себе, и ему. Если бы она протянула руку, погладила его по щеке. Приблизила постаревшее, тоже отекшее, с бездной мелких морщин, родное лицо, – с ним он так свыкся за тридцать лет. И сказала тихо: Коля, я знаю, ты уходишь, прощай. Я все тебе прощаю. И ты мне, пожалуйста, если можешь, все прости.

Как в Прощеное Воскресенье, – усмехаясь, подумал он. Люди же выдумали Прощеное Воскресенье – репетицию смертного Прощанья. Если бы жена так сказала! Или ничего бы не сказала, а просто молча взяла его руку. И пожатыем руки обожгла бы: да, я все понимаю; да, родной, я с тобой. А то – лживая улыбка на устах, фальшь ненужного утешенья. Доколе люди будут обманывать друг друга?! Как верно сказал Царь Николай, его тезка, последний наш Царь, обнаружив, что генералы перекидываются на сторону восставших, красных: «Всюду измена, и трусость, и обман.» Хватит обмана. Дочь ни разу не пришла к нему в больницу. Когда он уходил в больницу из дому – своими ногами, – она бросилась ему на шею, расцеловала его, будто бы он уезжал на этюды, в Рикшино или в Бармино, а не уходил умирать, и залепетала пошло-весело: «Папочка, подлечись, ты скоро воспрянешь, тебе надо чуть-чуть подколоться, две недели, и ты как огурчик». Огурчик, помидорчик. Его лицо искривилось. Господи, какое страданье. Он задыхается. Все что угодно, только не задохнуться. Он смертельно боится задохнуться. Господи, пронеси мимо меня чашу сию.

Вот она, его Гефсимания. Больше всего он боялся умереть в больничной палате, безликой, белой, грязной, равнодушной, среди чужих людей. И вот это настигло его. Господи, зачем?! Чем он так сильно провинился перед Тобой, Господи?! Он перевел дух. Отдышался. Сосед-татарин исподлобья глядел на него. «Николай Иваныч, а-а?.. плохо?.. может, сестричку позовем?.. укольчик...» Он закрыл глаза, откинулся на подушки, помотал головой. К черту укольчики. Так вот лежать с закрытыми глазами, не шевелиться. Обкрутиться тьмой, как рыболовецким плащом. Как в дождь на рыбалке; темно и тепло под плащом, из-под капюшона видна темная зеркальная поверхность озера, по ней колотят крупные капли, чуть подрагивает перо поплавок. Да, подергал он рыбки на веку. И помалевал красивых женщин, красивые цветы, красивые деревья и озера на тысяче холстов. Кто сохранит эти холсты? Кому они будут нужны? Дочь?.. Нужны они ей. Она вертихвостка. У нее своя жизнь.

У КАЖДОГО СВОЯ, НИКОМУ ДРУГОМУ, ДАЖЕ РОДНОМУ, НЕ НУЖНАЯ ЖИЗНЬ.

Так мрачно?! Тьма, глаза закрыты. Татарин бубнит. Стук каблучков по коридору. Что делать врачу в больнице в поздний час? Сестра прошла, в чужую палату. Все мы, люди, в палатах. У каждого свой врач. Счастлив тот, кто попал к хорошему доктору. Не залечит; не заперет; не убьет. Тьма сгущается. Из тьмы – выступом – свет. Как кусок золота. Как... голый живот женщины, Данаи...

И внезапно перед его закрытыми глазами вспыхнул свет беспощадной правды. И он содрогнулся – от ясности указующего света, от бесповоротности всего, что вырвало его из утробы матери, что поставило на ноги, что толкнуло в спину: иди и приди.

И он шел и пришел. Сегодня будет конец.

Свет, вспыхнувший победительно вокруг него, внутри него, безмолвно сказал ему: Николай, сегодня твой конец. Ты кончишься сегодня. И тебя, художника Николая, больше никогда не будет на земле. Будут другие художники и другие Николаи; а тебя больше не будет никогда. Готовься. Да, сегодня. Ночью. Скоро.

Он затаил дыхание. Ему стало страшно, и в то же время странное радостное волнение, какое бывает у актера на сцене, когда он выходит под струи света софитов, перед огромным черным скоплением народу, охватило его. Он открыл глаза. Татарин лежал на своей койке, подогнув ноги к подбородку; может быть, он спал.

– Эй, Хурмат Наилевич, – тихо позвал он спящего, – проснись-ка, я тебе что скажу.

У него был такой странный голос, что спящий мгновенно встрепенулся, рывком сел на кровати, свесив худые, под пижамными штанами, ноги, и уставился на него, лежащего на высоких подушках.

– Вот что, Хурмат, – задыхаясь, тихо проговорил он, и ему так было странно, дико, страшно и радостно выговаривать эти невозможные слова, – я сегодня ночью умру. – Это он сказал твердо, без обиняков, и Хурмат понял – он говорит правду, ОН ЗНАЕТ. – Дай мне листок чистой бумаги. У тебя есть в тумбочке, я знаю. И карандаш. Я напишу письмо внуку. Последнее.

Татарин забеспокоился, зашарил в ящике тумбочки: «На, на, дорогой, тут и правда листочки есть... да ты не бойся!.. Это ты зря в голову взял – помирать!.. Тебе просто сильно худо нынче, сильно худо, да... ну да потерпи, милый, завтра докторица придет – и живо на ноги тебя поставит!..» Он не слушал, не слышал утешений. Опять ложь. Все они лгут ему. Все они знают правду, как знает ее он сам.

Он вывел на листе бумаги дрожащей отчаянной рукой:

«МОЕМУ ЛЮБИМОМУ ВНУКУ КОЛЕНЬКЕ.

БУДЬ ВСЕГДА ДОСТОЙНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. НЕ РОНЯЙ ЧЕСТИ. НИКОГДА НЕ ОГОРЧАЙ МАМУ И БАБУШКУ, ЛЮБИ ВСЕ ЖИВОЕ, ЛЮБИ ПРИРОДУ, ЛЮБИ ЛЮДЕЙ. НЕ УТОНИ В ЛЮДСКОМ МОРЕ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ, Я БЫЛ МОРЯКОМ, Я ПЛАВАЛ ПО МОРЯМ И ВИДЕЛ МИР, И Я ВИДЕЛ, КАК ЛЮДИ ТОНУТ НА ЗЕМЛЕ. КРЕПКО СТОЙ НА ЗЕМЛЕ И ПОМНИ МЕНЯ, ТВОЕГО ДЕДА. НЕ ГРУСТИ ПО МНЕ, НО ИНОГДА ВСПОМНИ ОБО МНЕ. А Я ВСЕГДА БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ».

Он написал коряво, торопливо последние слова и опять задохнулся – такой невыносимой показалась ему мысль о том, что вот он будет любить внука вечно, а ощутить эту любовь и передать эту любовь, вскрыть тайную жилу и перелить кровь уже не сможет: не сможет обнять и прижаться, поцеловать и заплакать. Каково все ТАМ?!.. может быть, ТАМ и чувствует душа что-то, но как же она достучится до оставленного?!.. Он долго, тяжело, глубоко, хрипло дышал. Татарин пристально глядел на него. В его раскосых глазах застыл древний ужас.

– Да что ты и правда такой бледный, Николай Иванович!.. как полотно... щас сестричку...

– Не трудись, – сказал он хрипло, строго и властно, – не надо больше. Не надо.

И татарин понял. Он услышал: «Не мучьте меня больше, не надо. Время пришло». Татарин глядел остановившимся взглядом, как он непослушными, уже негнущимися пальцами сворачивает из листка с каракулями... что?!..

Из-под пальцев умирающего выходил, вылетал почтовый военный треугольник. Белый треугольник. Похоронка. Как это было тогда, на войне. Ну да, полевая почта. Он художник, вот он и рисует в углу треугольника полевой штампель, печать. Круглую печать. Господи. Потом, позже, спустя сколько лет, внук обольет слезами маленький белый треугольник, самодельный, неловко свернутый?! Тише... тише... что вы все так кричите... ведь какое молчанье... как всем теперь надо молчать. Как много шумов, разговоров.

Он все слышал – шумы и разговоры, скрип железных панцирных сеток, бряканье вилок и ложек, посуды с пищей, несомой к ужину, смешки и шепоты больных,

но все доносилось будто издали, будто заволокнутое сизой дымкой. Сфумато. Это было Леонардовское сфумато, как же он сразу не узнал. Господи, вот она, Тайная Вечеря. Вся стерлась, осыпалась; краски слезают со стены дырявым чулком. Христос разводит руками: мол, дорогие мои, вот и кончена жизнь. Вот и все. Недолго поцарствовал Я, Царь Иудейский, недолго поучил вас, как надо ломать хлеб и пить вино. А каково Мне было учить вас, дорогие, как надо любить?! Вы любили придорожных девок, расставлявших ноги под каждым кустом смоковницы; вы любили смирных жен, кормящих грудью ваших детей; вы думали, что вы любите Бога, правителей, священников и друг друга, но вам всем, бедные, это только казалось, и вы обращали на Меня робкие взоры свои: научи нас, научи!.. Дай нам силу, дай нам мудрость, дай нам – жизнь!.. Я дал вам жизнь, да; а теперь что же?.. Я должен научить вас умирать. Искусство умиранья, самое великое искусство, и Я не дал вам его. Хорошо же. Я дам вам его. Я умру на ваших глазах, перед вами. И вы поймете все – поймете, как надо умирать и зачем человек умирает, зачем не вечен он.

Кисть гладила стену все ниже, ниже, велась по выступам и щербинам, по шершавой коже штукатурки. Ах, любимые ученики. Любимый Марк; любимый Иоанн, мальчик, румяный мой. Волосики вьются. Помнишь, как мы с тобой ходили ловить линей. Огромных, толстых линей, темно-золотых, зелено-изумрудных, блестящих, как откопанные слитки старых кладов; и, принеся рыбу в избу на кукане, ты клал ее на раскаленную черную чугунную сковороду, и поливал маслом, и посыпал солью, и тебе помогала женщина... так похожая на мою дочь, а!.. я до задыханья любил эту девочку... до задыханья... А ведь и ты, Иоанн мой, тоже любил ее. Погляди, вспомни, какие у нее большие карие, чуть раскосые восточные глаза – точь-в-точь как у ее матери; какие смуглые румяные щеки, и вся она смугла, желта, черна, как Суламифь; и бедра ее тяжелы, и щиколотки ее тонки, как у породистых кобылиц; и красивые руки ее нежны, а разве самое красивое у женщин, Иоанн, не руки и глаза?.. Она помогает тебе готовить. И Вечеря еще эта не Тайная; это простая наша трапеза в черной избе, и бревна сруба тяжелы, огромны, как черные медведи; и, если распахнуть дверь из сеней на крыльцо, то снег, вечно идущий с черных ночных небес, опалит, обожжет тебе разгоряченное у печи лицо, – Иоанн, мальчик мой, не пора ли перевернуть линей на сковородке?!.. подгорят ведь...

И женщина – нет, девушка – нет, девочка – с разбросанными по голым, выступающим из-под платья плечам темными длинными волосами, с пылающими щеками, тонкая, юная, веселая, порывистая, подходит к нему и радостно говорит, обнимая его за шею, приближает родное лицо и шепчет: нет, папа, рыба не подгорела, Иван уже перевернул ее и тот бочок посолил, а водочку я

сейчас достану из погреба, ты не бойся, я сама слазаю, я не разобьюсь, как матушка – она по глупости в погреб упала, а я не разобьюсь никогда. А апостолы уже за столом, и они хотят вина. И я еще лепешек испекла. И еще они хотят, чтоб ты их на холсте написал, у тебя же стоит в каморке загрунтованный холст, ну пожалуйста, они так ждут и просят, они уже сели за трапезу, будто позировать, – а я тебе помогу, я сама тебе красок надавлю на палитру, я все, все тебе сделаю – и кисточки с мылом вымою, и льняного масла в вазочку налью, только садись и рисуй!..

И он соглашался: да, конечно, я нарисую вас всех, – и выходил в горницу, а все уже сидели за столом, так, как всегда, как обычно сидели: Учитель посередине, с раскинутыми на столе, ладонями вверх, руками, рядом с ним – юный Иван, справа – седой кудрявый, лысый Петр, загорелый на рыбалках дочерна, и Андрей, а там – все остальные, тонут во тьме избы; и не видно лицо Того, Кто предаст, лишь красным светится во тьме щека, лишь зловеще горит старая золотая серьга в ухе. И Андрей раскладывает по доскам стола испеченные в печке хлебы. И никто не называет по имени девушку, девочку, что тащит на стол в сковороде жареных линей, улыбается, а справа, под глазом, у нее недостает одного хорошенького, белого, как речной жемчуг, зуба.

Как он любил рыбу!

Матушкину – фаршированную...

Да что это я все, Господи, о еде да о еде, – да ведь живее еды нет ничего на свете, только любовь; и любовь – пища души и тела; и люди в любви друг для друга – причащение, яства Божьи. Тело – хлебы, поцелуи, что пьются, – вино. Хлеб и вино, таинство Причастия. Хлеб и виноград, вечный ужин влюбленных. А рыба?.. И почему ее надо фаршировать?.. Ах да, ведь это по-еврейски, по-иудейски, и там, в пустынях, они, древние, делали так... Мама наловчилась великолепно, как Бетховен – симфонию, сотворять вкуснейшее еврейское блюдо; соседка-жидовка обучила, как и что – через мясорубку, куда – толкать-пихать, где – сдобрить-посыпать... «Лучше всего щучка, благородная рыбка, сладкое мяско, таки-да!..» – пела старая хромая киевлянка с Подола, чудом выжившая в Бабьем Яре, добрейшая Екатерина Марковна, качая квадратной тяжелой старой головой, как китайский бронзовый бонза. Мы с мамой бежали на базар, выбирали щуку покрупнее. Однажды купили громадину – еле дотащили. Взрезали ножом брюхо – а там икра! Скоплением янтарей икра вывалилась

из щуки на драную клеенку стола, и мы жадно и весело собирали ее руками в пустую банку, бешено, взахлеб смеясь, и тут же густо солили, перемешивая деревянной хохломской ложкой... А рыба светилась солнечно, искрились топазами и янтарями икринки – это теперь я думаю о том, сколько же рыбок явилось бы на свет, а человек, хищник, поймал рыбину и выпотрошил ее для потехи утробы своей... А тогда – я веселилась. Икра была праздником, драгоценностью. Икру ребенок любил больше других яств. Икра – мечта и вожделье; при одном слове – «икра» – набирался полный рот слюны, и ноздри расширялись, лоя неслышимый – воспоминальный – дух. Икру мы покупали, как и щуку, на базаре. И зернистую, и паюсную. Паюсную торговки из Ахтубы и Астрахани продавали в виде плотно утрамбованных икряных хлебов – круглых и квадратных кирпичей, как настоящая буханка ржаного с виду. Вот стоит торговка за лотком. Лежат перед ней на промасленной газетенке – «Правде» или «Известиях» – икряные «ситные» и «ржаные». Млеют, черно и маслено блестят на летнем Солнце. Баба отирает пот с лица. «Эх, беритя, бабочки!.. – поет. – Беритя, Господь с вами, отдам по дешевке!.. Робенку вить надо!.. Вить это сколь полезности!.. А вы блинчиков, блинчиков-та ей спекитя, а зверха – икры, икры, да завернитя в блин-та!.. Оно будет как чудесно!.. И всего-та червонец кэгэ!.. Червонец!.. по пятнадцать утречком продавала... Беритя – даром вить!..» Торговка, смуглая, сухопарая, красивая цыганской ли, казацкой красотой – иссиня-черные кудри, ярко-алые губы, красная капелька серги в мочке, жилистая шея, высохшие воблой хитрые воровские руки, и на безымянном пальце целых два обручальных кольца: свое и мужнино, – тянет ко мне, к лицу моему, на ладонях, заскорузлых и сухоизрытых, как кора осокоря, черный, круглый, огромный, тяжелый, пахучий икряной каравай: кого хочешь, выбирай!.. Пущай мамка не жметя!..

Мамка – жена художника. У нее в кошеле то густо, то пусто. Такая жизнь. Такая песня. Широкая, на всю реку. Может, за круг паюсной икры... твою брошку отдать?.. – это не я предлагаю, мама, это глаза мои говорят, кричат. Тихо. Достается кошелек. Выходит, у нас денежки еще есть. Значит, папа продал картину! Ура! И у нас будет икра! Этот красивый черный жернов! Я буду отрезать по кусочку, по щебеньку... по прозрачной ма-аленькой пластиночке, ведь это очень, оч-чень дорогая еда...

...сфумато. Да, эта дивная, синеватая призрачная дымка. Как все легко и радостно обволакивается ею. И раскосое, с бровями вразлет, лицо татарина, наклоненное над ним. И белеющие во тьме наволочки, мятые снежные комки

сбитых простыней. Неужели все в палате еще живы. Может, это уже Царствие Небесное, и он уже возлежит на пиру. Раньше люди, когда ели, возлежали. А почему же тогда его апостолы сидят за столом вокруг Учителя. Как он качался в деревянной люльке, рядом с железными лесами, расписывая стену. Свежая штукатурка так резко пахла. И краска, растворенная скипидаром и белым маслом, стекала по стене живыми потеками, как слезы. Или кровь. Красная – как кровь. Судьба художника такая: пиши свое – своей кровью. Иначе, если будешь обмакивать кисть в чужую кровь, – твое создание не выживет. Оно умрет быстро и навсегда. А если ты себе вскрыешь жилы и свою кровь на стену ливанешь – ну, тогда можешь успокоиться; это еще может выжить. При условии, если храм, расписываемый тобой, не взорвут. Если он не разрушится и не сгорит в пожарище новой войны, уцелев во всех прежних войнах.

«Что тебе принести, Коля?.. – услышал он, как из тумана, голос татарина. – Ведь ужин разносили... Может, поешь чего-нибудь?.. Чего бы ты хотел?..» Он медленно повел головой на подушке – вбок, еще вбок. Ничего не хочу. Потом разжал губы. Татарин приблизил ухо. Он прошептал: пирога. Хочу пирога. Поел бы пирога горячего. Татарин беспомощно огляделся. Эк хватил, пирога!.. Если б поварихам на кухне заказать, ну, может быть, они бы и теста нашли, и начиночку какую заложили... А теперь – поздно... поздно...

Он опять закрыл глаза. Увидел новую картину. Он еще такой не писал. Старый город, и Солнце заливает – из черпака густо-синего, радостно гудящего ветром: «Весна!.. Весна!..» – неба – деревянную резьбу хохлатых промерзших домов, их темные от людских слез, сырые на ветру доски, битые рыжие стекла – и слепили они осколками детские глаза! – последний мятый – ватой – снег на коньках крыш, ветхие застрехи и кучи воробьев и голубей на них, и он понял, что город – это огромный деревянный храм, где под ногами у прихожан – снег, где под куполом – сине, а старые доски ниш и апсид прогнили и вольно, через дырки, пропускают горний, Фаворский свет. И дочь его стоит в сем храме на полу босиком ли, в сапогах – не все ли ей равно, – стоит и крестится на санный, на машинный след, на мертвый – в синем небе – голый осокорь, на красные лапки голубей, похожие на кресты, и на настоящие, в полнеба, кресты – ослепительного золота! – Рождественской церкви, – она тоже внутри весеннего деревянного храма! она меньше неба, Солнца, крыш, половодья!.. она даже уместается вся на дочериной ладони, и она видит ее всю, как Моцарт – симфонию, как пирожок за пять копеек, с повидлом, – с синими луковицами, усыпанными поддельными самоцветами, лалами и золотыми полумесяцами, с лепниной, изображающей гроздь винограда, с красными резными каменными карнизами, с черными пчелами прихожан, клубящимися у летка теплого, пастью

разверстого входа, – Господи, какая же благодать все Твое, и за что это ему – и живая, скользящая синь рыбы-Волги внизу: плывет куда-то на юг, нереститься, несет на ледоходной хребтине ветра и снега!.. – и пересыпанные солью последнего, грязного снега заволжские дали – слой рыже-золотого, слой небесно-зеленого, слой мышьевого, слой грязно-белого, слой дрожаще-голубого: мир – это Пирог, это большой Пирог, и благодарю Тебя, Господи, что даешь мне вкусить от края сего Божьего Пирога, насытиться им, наплакаться над ним вдосталь, – и – дашь силы?!.. ей, его несмышленной дочке, никакой не хозяйке, еще под стол пешком ходит, еще мать ей пальтецо из старого, прошлогоднего, на вырост перешивает!.. – испечь его, заново смешать, смешать, всыпать новые дрожжи в старое, древнее тесто, влить свои пряные слезы, вдунуть свой великий восторг перед грядущим Пирогом и упоение Им, незримым, будущим, чтобы тесто закрутилось, взошло, чтобы дочь, теряя дар речи, вытирая со лба и лица обильно текущий пот, совала Его, Пирог, все глубже и глубже в раскаленный зев, прикладывала – все в масле, крови, ржавчине, дождях – прожженное огнем полотенце ко рту, считала часы и минуты, трогала корочку сломанной спичкой, протыкала насквозь: когда испечется?.. когда?.. – и, наконец, голая и разъяренная перед голыми, ржущими, жрущими, пьющими на похмельном пиру, ждущими ее Пирога, – голыми, обожженными, в саже и синяках, рабочими руками вытаскивала из гудящего огненного нутра Его, главное и бесспорное свое Яство, слепленное и выпеченное ею из биения телесного теста своего, из сласти-горечи души и крови своей, – «примите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов; пейте Ея вси, сия есть Кровь Моя, за вы проливаемая...»

Аллилуиа!

Свечи в церкви пахнут теплым медом.

– Хочу пирога... и меда, – сказал он слабым, неслышным голосом, беззвучно, и татарин понял его, закивал: меда, как же, да, у меня есть, в банке, в тумбочке, жена принесла!.. зять сам гнал!.. а кураги тебе неохота?.. тебе жена принесла, тоже в баночке, вон у тебя на тумбочке стоит... меда именно?.. на, покушай... на, сердешный...

Он почувствовал, как в рот ему, в сгнившие зубы, втыкается ложка, и из нее на язык, в глотку льется сладкое, нежное, душистое. Мед. Вот что последнее дано ему вкусить. Он хотел рыбы; он хотел пирога; он их не получил, зато получил мед, – а уж как он любил в жизни живых пчел, суесящихся

в изготовлении своей древней амброзии. И Христос любил сотовый мед. Вот, он перед Уходом своим ест пищу, что ел Учитель; это хороший знак. Он проглотил глоток меда, улыбнулся татарину, не открывая глаз, и по его впалым щекам из-под закрытых век потекли жаркие слезы, прожигая борозды на коричневой сморщенной коже – два соленых прозрачных резца, прорезающих на живом лице панихидную кириллицу Смерти.

Мед мне дают в болезни, с ложечки. Хвостик у ложечки витой, серебряный. Мед, бело-желтый, засахаренный, выковыривается – сугубо для больного чада – из толстостенной банки, куда был налит стариком-пасечником, бородатым старовером, на зимнем Мытном рынке. Заметеленный Мытный, нищенка сидит в сугробе, с костылем. В ее шапке просверкивает медь. Мы идем через густоволосую метель в ряды, где написано над головами торговцев: «ЦВЕТЫ. МЕД. МОЛОКО.» Там стоят бабы в белых нарукавничках, с Гималаями творога на лотках, с лопаточками в красных от холода пальцах, с бочонками сметаны, в которой торчком стоит ложка, и перетаптываются угрюмые морщинистые староверы с топазовыми слитками меду на жестяных пластинах, в бидонах и банках. Зима, и мух нет, не жужжат они. Мороз. Мед течет на морозе тяготно и клейко, нескончаемо; бесконечно. Его не нацедить. Слежу – птичьим зраком – как образуется, вслед за каплей, свисающий с деревянного черпака медовый волос еле видимой толщины. Вот и он оборвался. «Вам придется еще лимон приобрести!.. Лимон к медку-то!.. От всех скорбей!..» Берем и лимон. Меня заставляют есть его с кожурой. Скорби, где вы?

Хвороба настигает за грехи мои. Лежу пластом, горло обвязано марлей, махрами, жаркими платками. Хорошо, сладко болеть. В болезни тебе прощают все обиды. В болезни тебя кормят с ложечки. От меда ноют сладко, поют за щеками зубы. «Доченька, вот я ставлю мед и чай на табуреточку, около кровати. Захочешь пить – попьешь. Не уронишь?.. Ты слышишь меня?..»

Я слышу – слышу – все слышу – только уже в бреду, в сонной горючей красноте. Красные круги плывут перед глазами, красные нимбы – над плывущими во тьме головами: это же картина, это икона «Церковь воинствующая» из Третьяковки, у нас такая репродукция в кожаной папиной папке есть. Слышу позвякиванье ложки в чашке – чай остыл – долей ей, Коля – у нее сильный жар – ох, надо бы в больницу – я врач, я сама справлюсь – какой ты врач, ты голый врач – Николай, не смей меня оскорблять – дай же ребенку градусник – не видишь, она вся малиновая – еле дышит – как бы отека легких не было – что ты мелешь – лучшие

средства народные – липовый цвет – малина – мед – мед – от меда все пройдет...

...а ангелы с красными кровавыми нимбами из «Церкви воинствующей» все плывут и плывут, все держат копья наперевес, собираются проткнуть остриями кого-то плохого, неверующего, – Фому Неверующего, быть может. Боженька, Ты есть. Ты в отцовой книжке «Біблія въ рисункахъ Гюстава Дорэ», 1897 года издания, разрешено Св. Синодом и Московской Патриархией. Ты слышишь меня. Ты не дашь мне умереть. Я люблю Тебя, но я не хочу к Тебе на небо. Рано мне. Это не мое время. Не бери меня. Мне страшно умирать. Я же не воскресну, как Ты, золотой. И Фома Неверующий, трясая козлиной белой бородой, улитой мелкими слезами, ни за что не вложит свои персты в мои распахнутые, как красные окна, рваные раны.

«Лапонька!.. Лапонька!.. Она спит...»

«Я сделаю ей куриные котлетки...»

Как это прекрасно – сидеть в подушках, горло обмотано, смазано чем-то гадким, на коленях, на одеяле – кружевная салфетка, и на салфетке – тарелка с куриною котлеткой (как из старинных романов!..), а в ней торчит косточка, ну прямо Диккенс, а мать даже не садится рядом, она стоит в проеме дверей и умиленно глядит, как спасенный ребенок ест.

– Можно добавки?..

– У курочки только две ножки... Пошла на поправку!..

Еще не скоро осмелюсь я испечь свой Пирог.

Еще – ой, не скоро – я своему ребенку в глотку буду глядеть, молоко кипятить, мед от днища банки трясущейся от страха рукой отколупывать.

Еще меня самое – пекут, и подхожу я тестом на опаре, и румянюсь со всех сторон, и Адамова, Евина глина обжигается в печи, то оглашенно пылкой, то смертно ледяной.

Еще не стою я на коленях – в снегу, в комьях мерзлой грязи – перед отцовской могилой, затерянной в декабрьских полях. Не чую в гортани, сведенной судорогой позднего рыдания, под праздным, вельми много болтавшим чушь языком, жалкий столовский студень со свеклой покрашенным хреном и черствые – дурные – «с котятами!..» – сиротские пирожки поминок, их черный рис, их казенный компот, их ртутно горящую в зеленых глупых бутылках, слепую водку, от которой немеют лоб и пальцы, как от хирургической анестезии, – хоть режьте, ничего не почувствую, – нет, чувствую, все – с болью. С кровью. С любовью. Чувствую все, вижу. Светлую улыбку отца в гробу; «он – в Раю!..» – глухо, сотрясаясь от сухих слез, шепчет мама. Красный кумач и трубную медь зимних похорон. И то, как на ремнях могильщики опускали гроб в ямину, а земляные срезы были рыжи, золотисты, – как красивый, из ведра, на солнечном Мытном рынке, огромный груздь, – и я рванулась вперед, сжала кулаки и твердо подумала, жестко, что вот ЭТИМ, только ЭТИМ все и кончилось – вся жизнь, огромная, дымная, залитая Солнцем всклень, шумная, любовная, вкусная, с поцелуйчиками – после стопочек муската либо хереса – в сладкие вишневые губы матери моей, с полночной рыбной ловлей, с художественными пьянками-гулянками, когда всего откушавшие и хлебнувшие – и грибков, и зельца, и расстегаев, и перцовки – заросшие лесными бородами художники, с пылающими безумьем глазами, орали на весь опьяневший с ними вместе подлунный мир:

«Только Евдокимов,

Только Крюков длинный

Могут четвертную вам достать!..» —

на мотив: «Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза», – с писаньем в мансардах питерской Академии, в заваленных древними креслами и гнилыми – на растопку печей – досками подкрышных мастерских – нагих замерзших натурщиц, и одну из натурщиц звали Фрина, и у нее от отца родился ребенок, – брат мой, брат мой, стал ли ты художником на этой земле?!.. лишь художник на земле счастлив и свободен!.. – с игрой на гитаре, перебором ее медных струн, от которых хоодело и плыло молодое сердце, с рождением беспутного сына – весь в шалого отца пошел!.. – с оплакиваньем уходящих женщин, с рождением дочки – долгожданной, после внематочной присмертной беременности второй жены, и с дочкиным крещеньем, совершенным просто от отчаянья, когда младенец орал, не смыкая рта, безостановочно без малого

целых два месяца, и ее, чтобы Дьявола в ней унять, понесли крестить в осеннюю грязь, и бабушка с завернутым кокончиком на руках поскользнулась в грязи и упала, чуть не раздавив крохотного живого червячка, а в церкви батюшка зажал ребенку нос и на вопль матери: «Не окунайте!.. Простудится!.. Заразится!.. Ангина, дифтерит!..» – нарочно окунул ее с головой в ледяную купель трижды, как и положено по Закону, а прогундосив: «Крещается раба Божия Елена...» – поднес к губам младенца чайную ложку кагора, а она ртом ложку-то ухватила и кагор весь заглотала, и все люди в церкви выдохнули: «Сомлеет!..» – и она спала потом без просыпу двое суток, как хороший, в миру, мужик-пьяница; вся великая, смелая, хулиганская, с драками и праздниками, с Новыми Годами и Днями Рожденья, с укусами гадюк, упавших с дерева в сапог, в густых лесах, с дрожаньем мелкой дрожью на дочкиных концертах, когда она училась на фортепьяно, а после на органе, – люстры, свечи, зал, рев органа под родными, любимыми, хрупкими пальцами, и где-то далеко, на последнем ряду, чтоб не видно было, как он любит, как страдает и гордится, – плачет лысый, с серебряными крыльями волос вокруг медной коричневой лысины, старик, – а ведь он похож на святого Николу, на Николая Чудотворца, как его обычно малюют на иконах по канону, как две капли воды похож, как это никто раньше не догадался!.. – вся проеденная, пропитая, промотанная, продутая в бумажные и деревянные трубы, вздернутая на рыбацкие лески и бельевые веревки, проспанная до полудня, проспоренная, профуканная в азартные игры до полуночи, похмельная поутру, проклятая, возлюбленная, трижды, по староверу протопопу Аввакуму, благословенная жизнь кончится у всех только ЭТИМ, вот ЭТИМ, когда на ремнях тяжелый молчащий гроб в могилу опускают, а вся жизнь – там, внутри гроба: маленький комочек, почти зародыш, ссохшийся, нежный, любимый. Он внедряется в чрево земли. Он будет там расти.

Он упокоится там, Господи.

И я никогда не узнаю, какую еду...

Он проглотил мед и слабо шевельнул рукой, и этот жест означал: уйди от меня, человек, оставь меня наедине с собой. Все. Я не хочу никого.

В палате было темно. Тьма обступала. Тьма обнимала нежно и неуклонно. Морозные узоры вились, цвели по стеклу – стоял лютый декабрь, а он раздумался о весне, зачем. Увидел внутри себя синее небо. Синий цвет. Да, как он любил синий цвет. Он всегда разбавлял белилами густой, почти черный

ультрамарин на палитре, и из-под кисти вырывался сноп синих лучей, и он гроздьями, ляпами бросал, швырял синие лучи на белый грунтованный холст. Когда он умрет, никто не займется его холстами, – пронизала яркая, грубая мысль. Никому не будет нужна синяя кровь сердца его. Эти нарисованные синие озера и реки; эти синие купола с золотыми крестами и звездами над слепяще-синими снегами – как много раз он писал их с натуры. И по памяти, бывало.

Нет, весна еще далеко. Он умирает зимой, ледяною зимой. Лютость зимы безгранична. Он так и знал, он предчувствовал, что уйдет зимой. Плохо хоронить зимой, трудно. А на поминках все набросятся на водку, будут согреваться, согреются и будут, краснорожие, смеяться, а не плакать. Как все просто, Боже. Как все страшно. И его жена, с которой он прожил тридцать лет – или больше?.. – поднимет граненый стакан и скажет громкую речь, благодарность выскажет: спасибо, мол, что пришли, помогли, простились, почтили память. А где будет дочь?.. А дочь будет тут же. Как много своей крови, и красной и синей, и белой и золотой, он взбрызнул в нее. Неужели она его не повторит?! Не сделает того, что он не смог, не успел сделать?!

Она сделает. Он верит в нее. Она забудет обиходить его холсты, но она продолжит то, что он начал. И доведет его дело до конца.

Ах, дочь, родная, обернула бы ты мое бездыханное тело в кусок такой ткани, чтобы... Он содрогнулся. Смертный не может помыслить о своем воскрешении – таком, какое было у Господа. Плащаницы не будет тебе, смертный. Я же трудился, работал, изнемогал во Имя Твое! – почти крикнул он молча, приподнявшись на жесткой больничной подушке на локтях. Неужели Ты меня не сможешь воскресить?! Меня! Меня! Только меня!.. Пусть я грешен, да. Пусть я и пил горькую, и буянил, и говорил одно людям, а делал другое; пусть я обманывал; пусть я изменял жене, пусть от моего семени беременели разные случайные женщины, и красотики и нищенки; но я работал, работал как вол, напрягал мышцы, видел внутренним виденьем то, что не всякий художник на земле видит!.. Я отработал Тебе, Господи!.. Есть, правда, еще один грех... Я – убивал... ибо я – воевал, Господи... А убить на войне – это разве грех, Господи?!.. Разве грех?!.. Я же защищал свой народ... я врага не пускал внутрь моей святой земли!.. Но, Боже мой, как я помню это тело на укрытой снегом земле... эту кровь на снегу... этот раскрытый хрипящий рот, эти содроганья – он дергался... я убил его в упор из автомата... я... расстрелял его... и другого, что выбежал из лесу навстречу мне... Я защищал Москву, Господи!.. Нас всех, моряков, с Северного морского пути бросили под Москву, в леса, во Ржев, в Волоколамск,

и, Господи, как мы бились, знаешь только Ты, и сколько там парней полегло, ведь мы были мальцы-моряки, ведь мы не умели воевать на суше, но, сцепив зубы, мы шли в атаку, и это Ты хранил меня, сохранил для жизни...

Он заскрежетал зубами, повернул голову, уткнулся лицом в пахнущую его потом подушку. Все верно, Бог не воскресит его, ведь он убивал. Воскрешают только святых. Он не святой. Он просто побыл на свете сначала мальчонкой, вкусив голод и холод, затем моряком, матросом на кораблях в северных жестоких морях, затем солдатом, затем художником; еще он побыл мужем и отцом, и это уже очень много, должно быть – вон Микеланджело, несчастный, так и не побыл на земле ни мужем, ни отцом. Он сподобился счастья – живописать в храме, расписывать храм бешеной и веселой, нежной и молитвенной кистью. Он малевал вечные сюжеты. Художник и создан Богом на земле для того, чтобы малевать вечные сюжеты. Если художник продает себя рынку, разменивает себя, как медную монету, продавая слащавую дуроту безмозглой, жаждущей развлечения толпе за большие деньги, он перестает быть художником, он превращается в торговца. Не бойся, договаривай: в проститута. Ты не стал проституттом, Николай. Ты остался художником. Ты зарабатывал деньги на жизнь в церкви, корчась в деревянной люльке под куполом, над железными кольями лесов. Ты малевал виденье пророка Иезекииля. Ты, слезши с лесов и похлебав картофельный постный суп, принесенный тебе прямо в трапезную почтительно потупившими глаза монашками, открывал огромный том с золотым обрезом в черном кожаном переплете и читал, шевеля беззвучно губами:

«И бысть на мнѣ рука Господня, и изведе мя в Дусь Господни, и постави мя средь поля, се же бяше полно костей чловѣческихъ,

и обведе мя окрестъ ихъ около, и се многи зъло на лица поля, и се сухи зъло.

И рече ко мнѣ: сынъ чловѣчъ, оживуть ли кости сія; и рекохъ: Господи Боже, Ты веси сія.

И рече ко мнѣ: сынъ чловѣчъ, прорцы на кости сія, и речеше имъ: кости сухия, слышите слово Господне.

Се глаголет Адонаи Господь костемъ симъ: се азъ введу въ васъ духъ животень,

и дамъ на васъ жилы, и возведу на васъ плоть,

и простру по вамъ кожу, и дам Дух Мой въ васъ, и оживете, и увесте, яко Азъ есмь Господь.

И прорекох, якоже заповѣда ми Господь.

И бысть глас внегда ми пророчествовати, и се трусь, и совокупляхося кости, кость к кости, каяждо к составу своему.

И видехъ, и се быша имъ жилы, и плоть растяше, и восхождаше, и протяжеса мь кожа верху, духа же не бяше в нихъ.

И рече ко мнѣ: прорцы о дусъ, прорцы, сынъ чловечь, и рцы духови, сїя глаголетъ Адоиаи Господь: от четырех ветров прииди душе, и вдуни на мертвыя сїя, и да оживуть. И прорекохъ, якоже повель ми, и вниде в ня духъ жизни, и ожиша, и сташа на ногахъ своихъ, соборъ многъ зъло».

Перед ним, перед его закрытыми глазами легла та желтая, изъеденная червем, обильно заляпанная на протяженьи столетий воском страница Библии – зрительная память художника хороша, крепка, что на цвет, что на тексты. В его сознани старинные буквы проявились, замерцали красно, будто написанные киноварью, кровью. Да, ведь и Библию писали кровью. Потому она так долго и живет; и будет жить; нет! Не только кровью! Духом, духом писали! Вот кости составились, восстали из могил, ожили, – а что бы были они, мертво гремящие, если б не Дух?!

Дух. Куда уйдет его дух. Близок переход. Он надеется: окунется во тьму, а там его вынут из тьмы, как... как Лазаря. Он не Лазарь. Лазарь был братом Марфы, которую Учитель ценил; и Марии, которую Учитель любил. Скольких женщин любил Учитель?.. Многих. Плох тот мужчина, что не любит многих женщин. Но одна должна быть. Одна-единственная. Так заповедано. Да прилепится жена к мужу своему... Он поморщился. Вот, пирожок разламывается надвое, и просфора разлепляется. Все разъединяется на свете, все. Даже то, что казалось высеченным из одной глыбы мрамора.

Лазарь был в пеленах. И пелены развернулись. И пали на холодную, мерзлую землю. А разве не было так, что из могил восставали? Из штабелей расстрелянных; из трюмов затопленных барж; из катакомб, где осажденные

прятались, забыв давно про хлеб и воду. А если он просто уснет, а потом оживет?! Там, в гробу... Он застонал, представив это. Господи, он не думал, что так страшно умирать. Он никогда не был готов к этому. Ни там, на войне; ни на обледенелой палубе сторожевика «СКР-19», где, лежа около пулемета, он скусывал зубами с палубы соленый, горький лед; ни в лесах подо Ржевом, под Вязьмой, под Москвой, где под градом огня он, скрючившись на дне траншеи, не молился Господу: оставь мне жизнь!.. – а смачно, грязно, страшно матерился, руганью отгоняя, убивая смердящий страх. Он неистово хотел жить.

И сейчас – хочет?!

Тьма подошла ближе. Тьма навалилась на него. Его лицо исказилось, он попытался отбиться. Он вытянул впереди себя руки, поднял над одеялом. Открыл глаза. Больные спали. Палата погрузилась во мрак, прорезаемый из-за зальделых окон вспышками поздних трамваев, белым мертвенным огнем уличных фонарей. Один. Ни жены, ни дочери. Ни сына. Ни других детей. Один, как тот древний мужик... как Иов. Смотри-ка, он даже имена вдруг вспомнил их всех, бешеных мощных стариков – Иезекииль, Исайя, Иов. Значит, он скоро переступит порог и очутится рядом с ними. Совсем рядом, близко. Слабое утешенье. Ему неохота ТУДА. Он же не знает, что ждет его ТАМ. А если он страшный, непоправимый, непростительный грешник, и ТАМ и вправду есть геенна огненная, и он будет гореть, гореть в Аду, гореть вечно, как вечно горят в ночи рыбацкие костры на излуках?!

Его татарин спал, похрапывал. Человек живет. Храпит. Сопит. Ворочается. Плачет. Усмехается. Ругается. Пьет ночью воду из стакана. И стакан вдруг вываливается из руки, падает на пол, летит медленно, непоправимо. Не остановить.

Иов, сидящий при дороге. В рубище, покрытый песью, паршой... проказой. С протянутой рукой. С шапкой, лежащей у его колен: для милостыньки. Снег сечет его, ветер бьет. А он все сидит при дороге с протянутой рукой. И он счастлив, ибо он – живой. И он никогда не станет мертвым. Ибо он вступил в разговор с Богом; он попытался воспротивиться Богу; и ни на один миг он не переставал любить Бога, даже когда Бог испытывал его медленным умираьем. Так, значит, сейчас, когда он станет умирать, он должен всемерно благодарить Бога. За то, что он жил на свете. За то, что он умирает теперь. Ибо Бог – Истребитель. Ибо вечен только Он. И, любя Его, ты причастишься Его. Ты останешься жить. Рядом с Ним. В Нем.

Как?! Как это может произойти?! Не знаю! Не верю! Как!

Сильная, невыносимая боль обхватила его крепко. Не отпускала. Он задохнулся. Хватал воздух ртом. Я рыба, я вытасчен на берег. Я выпростан из сети. Меня сейчас зажарят на костре. В пищу Богу моему. Ведь Он проголодался, Бог мой. Ведь Ему нужна душа моя. А куда уйдет тело мое?! В пищу червям... червям!..

Червям на пищу... о, это невозможно перенести...

Он застонал громче. Со стоном усилилась и боль. Она выросла неизмеримо; она проткнула его тысячью кинжалов. Вот она, тысяча гвоздей Распятия. Каждого, каждого в свой черед распинают. Он вдруг все понял. Неистовым светом высветился весь темный ранее мир. Каждый, кто умирает, должен в полной мере ощутить то, что испытывал Господь на Кресте. Каждый человек идет по земле своим Голгофским Путем, и у каждого в конце Пути – Лысая Гора, лысый земляной череп, и седые волосы вьюги, несомые ветром, летят по нему. Земля ведь тоже думает, Николай. Она думает так: сколько же людишек живет и копошится на мне, и как же они мне надоели. Хорошо еще, хоть умирают. А то я б от них задохнулась. Рыбу мою ловят... в водоемы мои гадят... взрывают меня, мнут гусеницами танков, кровью поливают – и думают: любовь взойдет... Идиоты. Любовь взойдет от любви. Не от крови.

Нет! Не воскресит! Грешен...

Какая мука. Какая огромная мука смерть. Вот она какая, его Голгофа. Пустая палата. Храпящие рты. Острый лекарственный запах. Одиночество. И высокая ледяная звезда за морозным окном, и золотая Луна, равнодушно глядящая на последние земные минуты его.

Так было. Так будет. О, какая боль. Господи! Поддержаться бы за что-нибудь! Нет ничего под рукой.

Он, ища вокруг себя руками, схватил, сжал, рванул край одеяла. Слепо шаря, схватился за никелированную решетку кровати у себя над головой. Скорей бы кончилась эта дикая боль. Надо прочитать молитву. Он зашевелил губами, и тут все его длинное, долгое, как вся его жизнь, тело выкрутило, как прачка отжимает белье; он весь выгнулся в дикой судороге, и понял, что оскалился, что

прикусил себе язык от боли, и лишь Луна видела, как сверкнули во тьме его старые пожелтелые зубы. Усмешка Смерти. Луна ответила ей. Он схватился за решетку изголовья другой рукой и выгнул спину, как в столбняке. Вся его жизнь пробежала перед его глазами. Растаяла во тьме. Осталась только боль. Великая боль – и великая тьма, что надвигалась со всех сторон, брала в кольцо, как охотники настигают загнанного собаками волка. Один! Он умирает один. Такая судьба. А ведь все могло быть иначе. С родными не так страшно. Девочка... ее глаза, ее нежные пальцы...

Пелены. Пелены. Заверните меня в пелены. Может, я и сам силен. Я излучу сиянье. Я испущу свет. И пройду светом сквозь плащаницу свою. И воскресну сам. И никого мне не надо. Не надо мне Бога. Я сам! Сам!

Что ты делаешь. Гляди, какая боль идет по тебе огромными волнами, смывает тебя. Один ты не справишься. Ты хочешь уйти, а если ты не будешь молиться, то убьют и унесут тебя. Туда, где такая боль будет длиться вечно.

Вечно?! Разве есть вечность?!

Он опять схватил воздух ртом, зубами, как зверь хватает кусок последнего мяса. Они все! Те! Те, кто умер до него! Раньше него! Их убивали! Там, на аренах, в цирках, и весь амфитеатр глядел, как в грудь вонзали трезубец, как лев наседавал на несчастного его брата, вбирая орущую голову в пасть, и зубы смыкались на висках, на темени, и кости хрустели, и кровь лилась! Вот им было страшно, да! Горящие живые факелы на крестах! Верую, Господи, и вечно буду веровать! Их сжигали живьем во Имя Господне, ты, жалкий раб, маловерный смертный! Ты мог бы так, как они?!

Бог, родимый... прости... я же не знаю, каково это... и я больше никогда, никогда не пройду Этот Путь, ибо он – последний... помоги мне!.. укрепи...

Он отцепил руку от блестящей стальной решетки, поднес, дрожащую, к лицу. Хотел перекреститься. Рука уже не повиновалась ему. Он только успел приложить сложенные щепотью пальцы ко лбу и к груди, а до правого плеча кисть уже не донес. Кисть. Живая кисть. Сколько холстов... сколько стен, храмов, фресок, церквей... какой черный, угольный фон, на таком фоне надо бы фигуры все прописать золотом, чтоб они горели, выступая из мрака, и нимбы намалевать тоже ярко-золотые, сусальные, чтобы входящие во храм сразу

озарялись вышним светом, поднимали головы, крестились... крестились... он уже... не успел...

Мука мученическая подошла, подкатилась от ног через живот к его голове. Голова вспыхнула. Он, не открывая глаз, увидел – во тьме палаты разлилось гордое золотое сиянье. Радость. Сколько радости. Да, ему удалось все же это написать. Не сфумато. Не дымку. Не горький туман. Этот яркий, горный золотой небесный свет, сияющий невыносимо, победно. Через боль. Сквозь муку и скрежет зубовой. Сквозь навалившиеся, властные руки Тьмы, обнимавшие его любовней и крепче всех женщин, что когда-либо неистово, радостно, страстно, слезно обнимали его, встречаясь на миг, прощаясь навсегда.

Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?

Я вскочила, помню, в ночном купе скорого трансевропейского экспресса, мчавшегося от Парижа – через Лион – Страсбург – Саарбрюккен – Нойштадт – Прагу – Чоп – Ужгород – в Москву, столицу нашей сошедшей с ума окончательно Родины. В купе было зачем-то три полки – одна над другой. Попутчика не было; муж улегся внизу, я – всегда любила этот птичий насест – вспрыгнула на верхнюю полку. Ночь, за кормой железного корабля осталась Злата Прага, ее башенки и мосты, ее бронзовый Рыцарь с золотым мечом, стоящий под мостом в реке, во Влтаве... Мы везли домой картины – муж написал их везде: в Париже, в Лионе, в Праге. Он запечатлел Европу, Европа побыла немного его натурщицей. Европа поработала, она старательно позировала художнику, и художник сосредоточенно писал ее, не скрывая ни ее возраста, ни ее морщин, ни ее высохших каменных рук. А вот глаза у нее были юные – зеленые, как Сена, синие, как Влтава, безумные, как безумная бурная Рона в обрамленьи кудрявых виноградников.

Муж спал. Поезд шел. Я проснулась.

Я проснулась оттого, что в наше купе вошел отец.

Он вошел в том теплом пальто, в котором он ходил зимой – в пестром, как перепелиное яйцо, с воротником из темной цигейки; на затылок сдвинул шапку – все ту же, мохнатую, белесую; и от него все так же хорошо пахло, приятными мужскими духами, счастьем и теплом, как всегда, когда я целовала его

и прижималась к нему. Он стоял у двери и не приближался ко мне. И я прижала руки к груди и заплакала.

– Папа, – сказала сквозь слезы, – папа, что ты пришел?!.. Зачем ты пришел?!.. Ты же знаешь, как я тоскую по тебе! Как я люблю тебя! Ты же видишь, папа, как я стараюсь все в жизни делать, продолжая тебя, во славу твою! Я знаю, что ты не успел! Я успею! Я сделаю все, все...

Слезы захлестнули мое лицо соленой волной. Я посмотрела на лицо отца. Он тоже плакал. Я видела – слезы блестели во тьме купе, вспыхивали, когда поезд проносился мимо ярких станционных фонарей. Он так же, как я, прижимал руки к груди, и я видела пятна масляной краски на этих любимых руках, когда-то носивших меня, отиравших мне лицо от дождя и от снега. Отец, я хочу омыть тебе руки, омыть тебе ноги. Поедем домой. Я вскипачу воды, налью теплой воды в таз, сяду и стану мыть твои руки и ноги, всего тебя. Там, под землей... ведь грязно?!.. слякотно... и душно, и темно...

Он, плача, сказал:

– Мне плохо. Плохо мне, доченька моя!.. оттого, что ты страдаешь... что я чувствую, слышу твою тоску по мне... и не знаю, как тебя исцелить... чем утешить тебя... нет утешенья... нет...

Все во мне сжалось. Все во мне стало сплошной сталью, железом.

– Мне так жалко тебя! – крикнула я ему шепотом, глядя ему в лицо и не осмелев взять его за руки – я боялась, ведь он был покойник. – Я все время вижу, как ты умирал, там, один, в больнице... Меня преследует это виденье... Будто бы это я сама умерла, я, а не ты... Это я, а не ты, хочу облегчить участь твою! Плохо в земле, под землей! Это я, я облегчу участь твою... Чем, милый?!..

– Я не в земле, – прошептал он. – Я хочу, чтобы ты поняла – я не в земле.

Поезд трясло, мотало на стыках рельсов. Огни бешено проносились за окнами. Мы въезжали из Европы в Россию, в безумную азиатскую страну.

– А где же ты?!.. – Я не могла дышать. Я видела – его фигура качается, тает в призрачном тумане ночного купе, за тускло светящимся зеркалом на двери. – Где же ты... скажи!.. Чтобы я могла молиться за тебя с радостью, а не со слезами... Я устала плакать о тебе, отец. Скажи мне – где ты?!..

И он внезапно улыбнулся, просветлев бледным лицом, и оторвал от груди руки, и протянул ко мне, и сказал. Его губы пошевелились – я видела. Но я не разобрала слова. Я не услышала его последнего слова, а он уже, напоследок осенив меня крестным знаменьем, попятился и вошел в зеркало, и глядел на меня уже из зеркала, оттуда, из отраженья сущего мира, и мне показалось – он стал не дальше, а ближе ко мне, и я въявь видела на его лице уже не слезы, а улыбку, и я потянулась к отраженью с вагонной койки, и коснулась дрожащими пальцами холодной поверхности зеркального стекла. А он все отходил, отходил вдаль, и мне казалось – он приближается, приближается ко мне, он обнимает меня, я в кольце его рук; и, когда он стал в зеркале совсем маленьким, исчез, растаял в ночном серебряном тумане, я поняла – он со мной, во мне, он стал уже не моим отцом, а сыном стал – глубоко во мне, во чреве. Это я теперь вынашивала его. Это я теперь должна была родить его, а не он меня. Я оглянулась. Деревья мелькали в вечной погоне за несущейся железной повозкой. Луна висела над миром спокойная, нежная, струя золотые слезы на укрывшие черную землю белым платом снега. Белый траур – траур Царей. Каждую зиму земля надевает Царский траур, хороня святых своих. Мой отец, Николай, ты тоже святой. Твои кости восстанут, оживут. Я насыщу их духом. Я наполню их жизнью, обволоку дочерней любовью своею.

Я упала лицом в вагонную подушку. Муж спал. Он не видел моих слез. Он не слышал, как я разговаривала с отцом своим, побеждая смерть.

А Луна похожа на нимб. На светящийся золотой нимб. Или на серебряный. Над невидимым ликом, над летящим духом.

Я тогда перекрестилась дрожащей рукой. Сложила руки на груди – так, как складывают их в гробу. Улыбнулась. Поняла: ничто не кончается. Душа плачет и длится. И тоска наша – тоже вечна.

Рельеф третий. Русская рулетка

Рынок, рынок, восточный, таежный рынок, продутый волчьими метелями, утыканный иглами драгоценного инея!

Танцуют торговки от холода; вот одна вареную картошку рассыпала по лотку, заворачивает покупателю в газету, поливает из деревянной ложки маслом, посыпает жареным лучком да перчиком. Где и сама картохи хватанет: мороз, и живот подвело, и сама стряпала, и деньга невелика, – съем-ка лучше с охотки, даром, что без селедки!..

А вот омулевая баба стоит, с ведром, полным шевелящейся рыбы: узкие, длинные сабли, живые сверкающие мечи Темучина, огнеглазых хуннов это, – не омули!.. – страшно их солить, наваливать гнет: они камень разорвут, ведро пополам рассекут. Идет древний омуль лунным ходом в томительной черноте заклятого озера. Манят его любовные рисунки горних звезд, ищет он жизни, а находит сеть. Баба, рыбачка! Ты не обижай его, омуля. Три священных зверя есть на земле: рыба, дракон, бык. Бык несет Солнце на рогах. Рыба Луну обвивает хвостом. А дракон все пытается их пожрать. Да отовсюду летят в него каленые стрелы, и кочевники скачут прямо ему наперерез, втыкая копья в напрягшееся горло, в подъятую хребтину.

А вон, видишь – дракона того китаяночка на черном кимоно вышила, кустарно, грубовато, и не шелком даже, а так, простыми нитками, да ничего, подходят, щупают, хвалят, – авось и купят. Замерзла маленькая китаяночка, нос порозовел, на ресницах тяжелое серебро повисло, – а смеется! Это рынок; это – Царство-Государство, со своими законами, со своею враждой и похвальбой. Мужик присел на корточки; чистит заскорузлыми ногтями вяленую чебак-рыбку, карман фуфайки бутылка темного пива оттягивает. Рядом с ним – раскорякой, холщовую лягушкой – мешок кедровых орехов чуть приоткрыт. Подкрасться... зачерпнуть горсть масляных орешков – украдкой... сыпануть в карман! Убежать... Засвистеть уже издали, за овощными рядами: эй, мужик, а твои орешки-то резво грызутся, в резучий снежок весело плюются!..

Небо пронзительно-синее – не облачный, ветренный лазурит, а прозрачный, кристальный сапфир царя Соломона. Если б не мороз – с жарою запросто глазу спутать! – так пышет с зенита яростною синью. Важно, хитро иди меж деревянными рядами, терпеливо примечай: вот на оснеженных лотках возлежат ярко-малиновые, с помятыми бочками гранаты – фрукт заморский. Кисляк – вырви глаз, ну, да Бог с ним! Раскосая гвоздично-коричневая старая бурятка

сгорбилась над граненой банкой золотого меда, пытается ложкой зачерпнуть – заматеревший мед не дается! – только разрезать ножом, зубами куснуть. Вот и нож из чьей-то искореженной, почерневшей руки подоспел; аккуратно отрезает старуха мерзлый ломоть меду, кладет на вощеную рваную бумажку, втягивает слюни.

А вот они, залитые Солнцем прилавки – знаменитые молочные ряды! Эх, желтое, медовое, густо-коричневое, розово-белое, цвета свежего семгового среза, молоко таежных коровушек! Лежит, милое, крепко на крутом морозе зальделое, на красиво расстеленных стираных да глаженных холстах – белые круги, сверкающие пирамидки, желто-искристые слитки, топленые железно-застывшие колеса – вот оно, любимое мерзлое молоко, застылые сливки: принесешь домой, в чугунок положишь, в печь живо задвинешь – и дух разольется травный и сладкий, а в кружку ливнешь – полумесяцы солнечного жира пленкой сверху плывут, – выпил – чисто целый обед отпробовал! Старики в мохнатых шапках, бабы, скрюченные на морозе, в мужниных тулупах, греют руки, бьют себя по лопаткам, ухают по-ямщицки, переминаются, как застоявшиеся лошади, с ноги на ногу, матерятся беззлобно. Купите молочка нашего!.. От рыжей коровушки!.. Ох, бравое молочко-то!.. В конце молочных лотков, на пустом ларе, сидит: ссутуленная, в треухе драном, в валенках-катанках дырявых, на руках, как ребенка, держит ведро, загляни-ка – два круга стылого молока, ярко-желтых, как два Солнца. «Что ты, баба?.. Почем отдашь?..» – «Возьми за так... замерзла я, однако. Она одна у меня, корова-то. Она – вся моя семья. Вот такой сказ. Возьми, поеду!.. Инда отморожусь вся... а до Култука – семь верст киселя хлебать!..»

Эх, а вот лимон! Это – дорого. Это – когда в кармане звенит громко, так, что с ближней колокольни слышно. А колокольня – вот она, нависает над рынком белою мачтой в синей бездне, белой коровой идет, звеня святым колоколом, по синему полю. Если звонят к обедне – весь гомонящий, гудящий рынок малиновым звоном заливают. Звон огнем греет в мороз, растапливает слои мерзлоты. Мужики снимают шапки, и метельный порх взвивает реденькие, на затылках, волосы. Бабы и старухи крестятся – кто мелко, быстренько, поспешая и радуясь, а кто широко, истово, вкусно, гордясь. Торговка мехами Люба растопыривает веселей корявые охотничьи руки, на которых, как на ветвях, висят шкурки ею самой убитых зверей – лис, волков, росомех, иной раз меткий глаз и соболиную, преступную, шкурку приметит, – Люба только носом шмыгнет, рукою, сжатой в кулак, шкурку сильнее, показнее встряхнет, а не спрячет, не схочет от штрафа. Все гиль, трын-трава! Она, Люба, – стрелялка матерая, прищурка, шаманка, умеет и навскидку, и вслепую,

и с прицелом, и хоть куда: ей в тайге – только попадись, сам в росوماху превратишься. Неверующий Богу молиться начнет. Скулы торчат, лицо как надраенная ножом сковородка, глаза утонули в припухлых кожных комках – и что видит щелочками?! – зверя видит, везде: на снегу, в норе, в сплетении ветвей, на вершине горы. Древняя кровь в Любе течет, – знающие люди говорят шепотом, что это – хуннская кровь, что один из ее предков был шаньюй, носил на лбу золотую перевязь и черные ритуальные рога, украшенные тряпками, вымоченными в крови убитых им медведей и козлов. Еще сообщали знающие старые люди, что шаньюй этот убил на охоте свою молодую жену, раскрасавицу, выпустил в нее издали смертоносные стрелы с золотым опереньем, разящие без промаха – а сам-то он те стрелы и смастерил! – и крикнул своим воинам: что ж вы, стреляйте тоже! Кто-то из воинов заплакал, не смог, уткнул лица в конские гривы. Тех жалостливых трусов шаньюй умертвил сам. Так воспитывал он непобедимое войско. А сыну, что ждал его в юрте, играя с пустынным ежом, он завещал рассказывать о том, как умерла его мать, всем потомкам его рода. И сын его, и внук, и правнук, и все потомки, и вереницы их потомков послушно исполняли просьбу шаньюя, и так эта пролитая кровь докатилась до Любы, а у Любы уж не было детей, одинокая бобылка она была, только на шкурах спала и шкурами укрывалась. А уж мяса варила и жарила – вдоволь. И не своим нерожденным детям, а чужим сплетным людям рассказывала она про безумного, без промаха бьющего прадеда.

И всю жизнь охотница Люба на рынке стоит, зверье убитое продает, – а сама уже темна лицом, как гробовая доска, как черная икона.

Только что и любил ее один Иннокентий, байкальский омулевый рыбак, по прозвищу Коряга. Она оттолкнула его, когда он к ней жить попросился; Коряга пошел, купил две бутылки серебряной водки, пешком пошел на Байкал, отвязал чужую лодку, отплыл далеко от берега, медленно пил обе бутылки, глядел, как льдины печально, царственно плывут по зеленой парчовой воде, как радостно сияют под Солнцем розовые зубцы хребта Хамар-Дабана, а потом торосы поплыли по небу, и выпрыгнули к Корягиной лодке прозрачные рабки-голомянки, – и он к рыбкам потянулся, хотел их поцеловать пьяными губами, да так и кувыркнулся в хрустальную воду, и топориком пошел на дно. А когда Любе о том сказали, – прикрывая рот ладонью, горько морщинась, шепотом, – она лишь молча осенила себя широким крестом.

А это кто – рядом? Девочка маленькая, в тулупчике, кошками ободранном! Как ее звать?

- Как зовут тебя, девчонка?..

- Ксенией!..

- Славное имя, старое...

За прилавком стоит баба молодая, лицо теплым платком обвязано; на девчонку смотрит строго. Должно быть, ее мать. Дают бабе малый грош заработать, громким зазывом нищий хлеб приторговать: кошма привольно разложена по колко блистающему пирамидками инея прилавку, и на ней – жмурьтесь, ахайте, осовелые люди! – холмы, бугры, пригорки оранжевых, пронзительно-алых, густо-медовых, золотых, как россыпи золотых хуннских монет из степных курганов, ягод, – они сыплются, ниспадают, переливаются на Солнце – дразнятся, вспыхивают, как граненый кушанский топаз! Ксении хочется зарыть в них лицо, руки, щеки, шею.

- Почем облепила, хозяйка?

- Не дороже денег!

- А ну как и куплю?

- Помолюсь за тебя от души!

- Сыпь!.. Эх, е-да-ты-мое, сладка!.. Чище бурятского меда!..

Оборачивается баба в вязаном платке к девчонке.

- Ксенька!

- Что, мама?

- Не замерзла?

- Нет еще!

– А что нос-то белый?! Рукавицей потри! Быстро!

Ксения замерла у прилавка, исподлобья уставилась на мать. Она твердо знала: облепиха чужая, ей и ягодки не отколется. На наторгованные деньги мать купит ей сахару, чтоб не скучно было пить горький чай, и синего тощего куренка – долго будет в котле вариться суп, и три дня они будут с матерью есть его. И все же искушение задушило ее.

– Матушка, я ягодку стащу...

– Отлепись, девчонка!.. Побегай вон еще, согрейся, погуляй по рынку!..

Она дождалась неуловимого момента, когда мать чуть скосила глаза вбок, на ворону, прыгнувшую с застрехи к золотому ягодному блеску, ринулась тигренком, схватила в горсть огненных ягод – и сломя голову побежала вдоль рыночных рядов, окуная лицо и губы в холод и сладость. В ягодах были смешные плоские косточки – она их глотала: вместе с воздухом, морозом, инеем, колючками. Встала под воробьиным навесом. Слизала все с ладошки. Торговка горячей картошкой, увидев соплячку, покатала на руке дымящуюся картофелину, защипнула грубыми толстыми пальцами жареный лук, посыпала, протянула: «Ешь!» Ксения знала, что людей, тебя одаряющих, надо благодарить; знала она и то, что в ответ на благодарность из уст человека можно услышать обидную, злую ругань. Темно поглядела она на испускающую пар картошку, качнула головою, и уши ее ушанки закачались.

– Нет, тетя, – сказала она. – Спасибо, тетя! Вы сами замерзли! И картохи у вас – мало!

И пошла от лотка гордо, как маленькая княгиня, озирая свои владения, любуясь яркими: небом, снедью, снегом.

Овечье-белый камень площадной, перед рынком возвышавшейся церкви неистово горел на солнечном ветру. Мелко, дробно, словно сыпались серебряные семечки из кожаной торбы, звонили колокола. Дверь храма была открыта, и оттуда тянуло пчелиным и тягучим запахом – ладаном, воском, праздником. Будто огромная мягкая лапа толкнула в спину Ксению. Она не пошла, а побежала к распахнутым церковным дверям, спотыкаясь, чуть не валясь носом в снег.

Взобралась по ступенькам. Протолкалась через коленопреклоненных старух в притворе. Впервые в жизни была она в большом храме, под куполом, в живом дрожании множества свечей, в излучении горячих, молящихся сердец. Еще ближе, туда, к высокому многоярусному иконостасу, к Царским Вратам, к алтарю. Что там? Кто?.. Люди в ряд стоят, босиком на расстеленных на каменных плитах циновках. Бородатый длинный человек в черном, до пят, мешке, с прозрачными, до дна просвечивающими глазами медленно перелистывает пухлую Книгу, разложенную на ящичке, прикрытом куском парчи. Что-то бормочет быстро, быстро – не понять ни слова. Рядом с ним – резная мраморная ваза, такие, Ксения видала, и в городских парках понатыканы. Другой бородатый человек в тяжелых серебрящихся одеждах наклоняется, зачерпывает круглым серебряным ковшом с витой ручкой из ведра, у себя под ногами, воды, льет в мраморную вазу, крестится. Подходит к стоящим в ряд людям – тут и мальчики, и исхудалые, с косичками-уклейками, девочки, и парень обритый, будто вчера из тюрьмы, в поношенных физкультурных штанах, и приземистая, широкоплечая баба на руках орущего младенца держит, а грудничок орет и извивается, выпрыгнуть из рук хочет, и баба качает его по цирковому, ловко и опасно бросая с руки на руку, только б уgomонился, – и девушки с горящими глазами и тощими шейками, высовывающимися из сползших на плечи монашеских платков, – и всем-всем мажет кисточкой из серебряной коробочки по лбу, по вискам, по груди, по ладоням, вот на корточки садится и – хвостиком кисточки раз-раз! – по коленям и ступням, – а поодаль, дальше всех, стоит русобородый мужчина, золотые кудри падают ему на плечи, узкие волчьи глаза горят темной кровью занебесных гольцов и священных пещер, мрачно сведены его брови, штаны закатаны до колен, он голый по пояс, и длинный бородатый человек в струящихся, как вода, одеждах выхватывает его из всего большого ряда присмиривших босых людей, стоящих на ковриках, цепляет за руку и ведет к мраморной вазе. Вот руки русобородого по локоть в купели. Вот быстро бормочущий что-то бородач набрасывает на его наклоненную беззащитную шею чистое полотенце. Зачерпывает ковшом воды из ведра. И льет на голову русобородому мужику – раз, другой, третий! Жидкое серебро воды мятно, железно сверкает, оловянным, спиртовым блеском течет с обнаженной головы и шеи – в купель. Вот уже в тюрбане полотенца отходит от вазы мужик, и бородач тихо надевает ему на шею черный шнурок. А это что блестит на шнурке? Ксения суется ближе, ближе, наступает на пятки шепчущим, крестящимся старухам, молодухам с грудниками на руках. Она видит – в густой поросли волос на груди русобородого мужика запуталась маленькая золотая стрекоза.

Не помня себя, Ксения кидается прямо под ноги бородатому:

- И у меня такой! Поглядите! У меня тоже такой есть!

Быстро, словно боясь опоздать куда-то, она распахнула шубенку, разодрала шарф, рванула воротник кофтенки. Крестьящиеся изумленно, оторопело воззрились. Священник внимательно, испытующе склонился к маленькой девочке, зажавшей нечто в кулаке под подбородком. «Покажи! – ласково шепнул он. – Тебя в храме никто не обидит!..» Ксения, глядя прямо в глаза батюшке, медленно разжала кулак.

В грязном, замурзанном детском кулачонке истово, торжествуя, просверкнула бирюза – небесно-опасным, смертно-изначальным светом. Священник, молча рассматривая бирюзовый крест, подумал о том, что так горят на рассвете далекие святые горы Беловодья. А может, так горит Байкал, когда вокруг залягут снега и бесовски запляшут метели, а он все хранит живую синюю ласку по-мужски спокойной воды.

- Ты крещеная, раба Божия? – строго, блестя добрыми глазами, спросил он.

- Нет, – помотала головою Ксения и улыбнулась.

- А крест зачем тогда носишь?

Ксения смутилась, голову опустила. Молчала.

- Это я однажды спала, спала... а во сне его на меня мама надела, – еле слышно пробормотала.

- Так давай я тебя окрещу, – просто сказал священник. – Как звать тебя?

- Ксенькой...

- Что ж, Ксения. Опускай ручонки в купель. Наклоняй голову. Эй, восприемники, у кого-нибудь осталось сухое полотенце?..

Ксеньина шубка упала к ногам. Она, как новорожденный бычок, неумело, едва держась в равновесии, наклонилась над резной каменной чашей. И когда на нее сверху, из ночного запредельного мира, из страшного и прекрасного Мира Взрослых, полного звезд, крови, войн и любовей, обрушились потоки воды, она сначала задохнулась, потом стала ловить эту воду ноздрями, губами, не понимая, теплая она или холодная, сладкая или соленая, она чувствовала, что вода была ж и в а я, что она омывала ее для новой жизни, а священник, воздымая в худой руке ковш, говорил – и она слышала это ясно – о Потопе, об Омовении, о Гробе Господнем. Ропот людской кругами ходил по церкви. Слышались всхлипы.

Ксения подняла от купели мокрую, курячью головенку, коски протянулись по спине, меж лопаток, веревками. Священник набросил ей на затылок чистую тряпицу, промакнул влажные волосы, склонился и поцеловал, еле коснувшись жаркими сухими губами, бирюзовый крестик на девочкиной шее.

– Благодать на тебе, дитя, – произнес он, и прозрачные глаза его наполнились слезами, когда выпрямлялся над ней каланчою. – Мука мученическая и благодать. Ну, иди, раба Божия Ксения, и гляди, как можно дольше не купайся, потому что я тебя помазал миром и елеем, елей – это мудрость, а миро – любовь. Иди! Вот шубейка твоя.

Крещеные кучкой столпились вокруг нее. Кто-то плотней укутал ее в тулупчик. Кто-то – пощупал жадно бирюзу на шее. Кто-то сунул в руки просфору. Кто-то крикнул: «Ходят бродяжки всякие!.. И во храм их безнаказанно пускают!.. А вдруг у нее – вши!.. А с ее волосы состригли и тоже кинули в купелю!.. А тута старушки святые эту воду пьют, ить она благословенна!.. Гоните ее вон из храма, шельму, развелось этих собачат!..»

Священник резко и сурово обернулся на крик. Серебро его широких одежд раздулось, полетело по ветру, забредшему в церковь чрез отворенную дверь.

– Мороз, мороз, – тихо сказал он и прикрыл глаза. – Мороз души людские сковал. Эту мерзлоту – и Христос не растопит, ежели придет. Но Он придет. И мы Его в блеске света и славы узнаем.

Он, прищурясь, отирая ладонью пот со лба, следил, как девочка, внезапно и чудесно окрещенная им, шла неровным шагом к церковным вратам.

Ксения подбежала к выходу. Мороз, балуясь, пахнул ей в лицо. Она обернулась на прощанье.

– Покрести лоб-то! – шепнул чей-то хриплый голос грубо.

Она растерянно поглядела на свои руки, оглянулась на медовые, темно-золотые иконы. От горящих свечек пахло медом и маслом. Поодаль, за бьющимися огоньками, молча стоял человек с русой бородой, глядел на нее. Игла кольнула ее в то место, где в груди было горячее всего, где билось птицей.

Она у матери одна была. «Сирота» – говорили о ней люди. А может, это стоял и смотрел на нее из тьмы храма ее отец?

Она быстрее побежала к распахнутой двери, скорей на волю – и выпрыгнула из церкви, как из лодки-долбленки, в крутящуюся, верткую белую воду зимы, в стынь, алмазы и синь.

А вокруг!.. – люди сыпались седой хвоей, тащили в руках и на загорбках все, что можно было уволочь в свои утлые, теплые домишки – перевязанные шпагатами елки и схваченную инеем картошку, рыжие апельсины и турмалиновые гранаты в авоськах и длинные голые прутья багульника – авось среди зимы расцветет лиловыми звездами! – и каждому из многоочитой толпы хотелось в единственной жизни – праздника и любви.

И стояла Ксения перед Великим Рынком, и Великий Рынок, танцуя и крича: «А вот возьми!.. А лучше всех!..» – улыбался ей.

И во множестве криков Ксения различила один истошный крик:

– Девочку потеряли! Девочку потеряли!

Ксения надменно повела глазами – ну, уж это не ее потеряли, она-то на рынке своя, она не потеряется! – дернула плечом, повернулась против солнца и ввинтилась в пестротканую толпу, в кучно сбитые тулупы и дубленки, расшитые пимы и драные валенки, в нафталиновые запахи старушьях поддегаев и в девичьи песцовые воротники, прячущие золото кос и нежные птичьи шейки. Рынок любил Ксению, и она любила рынок без оглядки, особенно воскресный –

царский корабль, носом разрезающий снежное море, полный яств, игрищ, плясок, лошадок, каруселей, пирогов на лотках, леденцовых петухов во ртах у цыганских детей... – а это что там?!.. Ну-ка дай-ка я погляжу!.. Про такие дела мамка мне еще не рассказывала!..

На крохотном, ярком снежном пяточке возвышался длинный, как столб, дядька. В руке он держал черную железную игрушку, масляно блестящую, поднимал ее к небу, размахивал ею. Резкий голос далеко разносился в густом пахтанье мороза:

– Налетай-подходи, от судьбы пощады не жди!.. Везет лишь раз в жизни, остальное – гиль!.. Всего один выстрел – и, если вы везун, вы получаете состояние, пожизненную ренту, дом в Калифорнии и библиотеку словаря Брокгауза-Ефрона!.. Цена жизни – жизнь, цена смерти... – голос прервался, и в пустоту хлынул дразняще-дикий гомон рынка. – Смерть!.. В обойме на шесть выстрелов – только один патрон!.. Тот не русский человек, кто не испытал судьбу!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/ru/kryukova_elena/vrata-smerti

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)